



СТАНИСЛАВ РОДИОНОВ  
ДОЛГОЕ  
ДЕЛО

ЦЕНТРОЛИГРАФ



Станислав Родионов

**Долгое дело**

«Центрполиграф»

1981

## **Родионов С. В.**

Долгое дело / С. В. Родионов — «Центрполиграф», 1981

Книга мастера психологического детектива Станислава Родионова знакомит нас с блестящей женщиной Аделаидой Сергеевной Калязиной, матерой аферисткой, преступления которой следователь Рябинин вынужден расследовать долгие пятнадцать лет... По мотивам этого произведения снят фильм «Переступить черту», в котором роль главной героини великолепно сыграла неподражаемая актриса Татьяна Васильева. Современному любителю этого жанра Рябинин также знаком по кинофильмам «Криминальный талант», «Тихое следствие». Каждый найдет для себя у Родионова то, что близко именно ему – закрученный сюжет, забавные персонажи, житейские истории, мистические тайны и неожиданную развязку...

© Родионов С. В., 1981

© Центрполиграф, 1981

# Содержание

Пролог	6
Часть первая	8
Часть вторая	54
Конец ознакомительного фрагмента.	72

# Станислав Родионов

## Долгое дело

© Родионов Е.С., наследник, 2013

© ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2013

© Художественное оформление серии, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2013

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Пролог

Рябинин переступил высокий порог и шагнул в помещение, размахисто закрыв широченную дверь, обитую железом. Темные, иконного цвета стеллажи выстроились торцами, как прореженный забор. Говорили, что они тянулись на полкилометра.

От дверного маха должен бы сорваться ветерок, но воздух даже не дрогнул. Казалось, его здесь тоже хранили, уложив незримыми штабелями до сводчатого монастырского потолка. Запах бумаги – не такой, каким пахнет свежая тетрадка, чистый лист или газета, – макулатурным духом щекотнул нос. Странно, ведь в библиотеках тоже хранилась бумага, но запах там другой. Неужели он зависит от того, что на этой бумаге написано: математические расчеты, школьное сочинение, роман о любви или протоколы уголовных дел? Или есть бумага живая и есть мертвая? Или вентиляция тут не тянет?..

Рябинин подошел к деревянному барьерчику и шумно бросил портфель. Где-то далеко, может быть за полкилометра, отозвались тихие шаги, которые приближались с каждой секундой.

– Сергей Георгиевич!

Танечка улыбнулась и запахнула халат.

– Кто ж еще, – улыбнулся и Рябинин, доставая из портфеля запрос на уголовное дело. – Как твоя архивная жизнь?

– Как у мышки, – сразу ответила она, потому что так отвечала всегда и каждому.

– Скучно?

– Еще бы не скучно. Аж пропылилась вся...

Она потрепала пушистую черную косу, свою гордость, словно вытряхнула из нее упомянутую пыль.

– Столько тут дел, а тебе скучно.

– Нет живого лица. Архив-то что кладбище. Да на кладбище веселей.

Для него они были не мертвые. И не только потому, что, хорошо зная следствие, он мог открыть архивную папку и определить цель и смысл любого процессуального действия. У Рябина было развито воображение – от следствия ли, от природы ли, – которое оживляло протоколы допросов, очных ставок и происшествий. Он сразу начинал видеть лица и слышать голоса. В конце концов уголовные дела требуют не так много фантазии, чтобы превратиться в повести и романы.

– Хочешь пойти секретарем в прокуратуру? Там сплошные живые лица...

– Еще как хочу!

– А вот я люблю архивы, – признался он.

– Это вам после вашей нервотрешки хочется отдохнуть, – не согласилась Таня.

Рябинин любил архивы, даже архив уголовных дел. На этих стеллажах хранились не желтые и синие папки – время на них спрессовалось, то самое время, которое сейчас неудержимо бежало за стенами, а здесь стояло на полках крепкими рядами и уже никуда не могло убежать. Тишина вместе с запахом пыли висела меж этих рядов. И не было связи с настоящим – одно прошлое, раскинувшееся на полкилометра.

Нет, была все-таки связь: на руке тикали часы, которые, казалось, можно было расслышать на том конце архива. Однажды здесь Рябинин и догадался об истинном значении плоского диска на своем запястье. Часы придуманы не только для того, чтобы человек вовремя приходил на работу, домой, в кино, на свидание... У них есть главное назначение – напоминать человеку, что он смертен. Если бы люди жили вечно, зачем бы им знать, который час. У них же вечность.

– Чем интересуетесь? – спросила Таня.

– Мне нужны все прошлогодние дела о выпуске недоброкачественной продукции.

– Пойду искать...

Рябинин снял плащ и сел за стол, который приткнулся в углу. Следы бритвы, пятна чернил и клея говорили, что такие, вроде него, изучающие, частенько тут сиживали. Вот и ему предстоит работать до закрытия. Да не один день.

– Читайте пока, чтобы не скучать, – хитренько сказала Таня, выскочив откуда-то из-под полки.

Рябинин взял у нее толстый том уголовного дела.

Сначала на синей папке бросилась в глаза светлая бумажка, на которой Таниной рукой было выведено: «Не уничтожать, оно интересное». Потом он увидел огромные буквы и цифры: «Дело № 16-253. Том 1». И уж тогда – «По обвинению Аделаиды Сергеевны Калязиной в преступлениях, предусмотренных ст. 147...».

Теплота легонько стукнула в грудь, удивив Рябинина: неужели встреча с делом похожа на встречу со старым другом? Он погладил шершавую обложку, пахнувшую все той же макулатурой. Сколько прошло? Боже, одиннадцать лет... В этих папках были протоколы, но кроме них сюда вместился кусок его жизни, который он прожил давно, одиннадцать лет назад. И не потертую обложку он гладил теперь, а подсознательно хотел ладонью ощутить, почувствовать его, тот кусок жизни, который, оказывается, он так давно прожил.

Рябинин открыл том.

Опись бумаг, постановление о возбуждении уголовного дела... У него даже почерк тогда был другой: мелкий, сжатый, торопливый. Или дело попало такое, что корежило его почерк?

Он помнил обвиняемую, помнил следственные действия и, казалось, помнил каждый протокол. Он все помнил, кроме тех состояний, когда возвращался домой бледный, с легким поташниванием, когда был не рад, что стал следователем, и когда жена тайно ходила к прокурору района и просила забрать у него дело по обвинению этой самой Калязиной Аделаиды Сергеевны.

Тогда он был одинок, каким всегда бывает человек, которому не на кого переложить свою тяжесть. Но он перекладывал – на дневник, надеясь на молчаливое сочувствие бумаги. И бумага сочувствовала, принимая на свои листы его ночные молчаливые вскрики. Это тогда он записал (помнил до сих пор): «Я не знаю, от чего умру. Но во всех случаях на моей могиле пусть напишут: „Умер от одиночества“». Это тогда он увидел свою работу в каком-то необычном отдалении, как бы со стороны. И, возможно, тогда он и сделался следователем, выжженный и выдубленный этим делом. Тогда, тогда...

У человеческой памяти, слава богу, есть хорошая привычка – забывать плохое. А, может быть, не у памяти; может быть, у человеческой природы есть чудесное свойство – хранить в себе радостные дни до смерти, потому что жизнь наша все-таки меряется ими. Да разве были у него тогда радостные дни?

С чего же все пошло?.. Нет, у этого дела он не помнил яркого начала. Не было выезда на место происшествия, и задержания с личным не было. Оно, как хроническая болезнь, рождалось исподволь, вызревая постепенно и надолго...

## Часть первая

Он нехотя утопил кнопку – большую, прямоугольную, белую, вроде окороченной клавиши пианино. За дверью сразу же забренчала музыка: им показалось, что ксилофонные молоточки выбили мелодию похожую на начало мендельсоновского свадебного марша.

- Говори ты, – быстро сказал он.
- Почему? – шепотом возразила девушка.
- Твоя идея...

Замок щелкнул, тоже мелодично, словно попытался продолжить тему звонка. Дверь бесшумно приоткрылась. На пороге стояла женщина и молча смотрела на них. Это молчание чуть затянулось, потому что никто из пришедших не хотел говорить первым.

- Нам Аделаиду Сергеевну, – наконец произнес он.

Женщина в дверном проеме отступила назад, показывая, что они могут войти. Парень и девушка осторожно протиснулись. Сзади, вроде бы сама, дверь захлопнулась с тем же легким звоном.

В передней был полумрак. Зеленоватый рассеянный свет падал из круглого окошканиши, как из иллюминатора, за которым, казалось, лежит толща океана. Хозяйка темнела плотной фигурой, выжидая.

- Мы хотели бы... – начал он и замолчал, подбирая слово.
- Погадать, – досказала его спутница.
- Вытрите ноги, – предложила хозяйка.

Они усердно заскребли подошвами по какому-то липкому мягкому коврику.

- Проходите.

Большая комната ударила в глаза ярким светом. Казалось, что все тут излучало сияние: стены, забранные в рост человека глянцевой тканью; хрустальная люстра, игравшая мелкими гранями, как колотый лед; цветное стекло висячих полок; белый пушистый ковер, отливающий тусклым оловянным блеском...

– Садитесь, – услышали они откуда-то голос хозяйки, которая исчезла, пока гости рассматривали комнату.

Они напряженно опустили в мягкие кресла, расположенные так, чтобы их ноги остались на паркете и только носками касались коврового ворса.

– Хотите погадать? – спросил их низкий грудной голос. И тогда увидели туфли, на которых пряжки играли теми же огоньками, что и люстра. Чулки цвета лучшего южного загара, туго обтягивающие ноги, особенно повыше колен, до первой пуговицы платья-халата. Руки, кремовые, как и чулки, с блестками колец и перстней. И черную тень, которая отрезала ее чуть повыше второй пуговицы, но ниже груди.

Аделаида Сергеевна неясно белела лицом между торцами высоченного шкафа-пенала и еще каким-то сооружением из дерева и стекла. Рядом стоял маленький столик из черного мрамора, который, казалось, и бросал свою черную тень на ее лицо. Кроме телефона, на столике ничего не было.

- Значит, хотите гадать? – повторила хозяйка. – А, наверное, комсомольцы.
- Нам дали ваш адрес... – начал он.
- Я, молодой человек, не гадалка. Я – предсказательница.
- Нам все равно, лишь бы правду, – забеспокоилась девушка.
- Что желаете узнать?

– Аделаида Сергеевна, – стараясь говорить строже, начал он. – Мы хотим пожениться. Валентина уже была замужем, есть ребенок. Вот и решили, чтобы, значит, не портить мою судьбу, ее и ребенка... Любовь-то любовью, а жизнь есть жизнь.



– Ведь в Загсе не посоветуешься, – вставила Валентина.

– Хотите выяснить совместимость, – определила хозяйка. – Пятьдесят рублей.

– Дороговато, – удивился он.

– Дороговато? – удивилась и Аделаида Сергеевна. – Узнать свою судьбу за пятьдесят рублей – дороговато? Молодой человек, я вам сообщу банальный факт: бутылка дешевого коньяка стоит десятку.

Видимо, от негодования она ерзнула в своем полумраке, и нижняя пуговица платья-халата расстегнулась, обнажив всю ногу и розовое, уже незагорелое тело над чулком.

Он быстро перевел взгляд на ковер, а когда поднял глаза, то пуговица была застегнута.

– Хорошо, – глухо согласился он, заметно краснея.

– Ну, – произнесла она так, что он это «ну» понял мгновенно, торопливо полез в карман, ощупью насчитал пять десятков и положил их рядом с телефоном.

– Ну, – повторила Аделаида Сергеевна, и сейчас оно значило, что с формальностями покончено.

Гости выжидательно и незаметно напряглись: они уже не знали, что их теперь больше интересует – будущее или способ предсказания.

– Рой! – сказала хозяйка. – Принеси молодому человеку закурить.

Они удивленно повернули головы, но в комнате никого не было; когда же посмотрели на хозяйку, то внизу, чуть не под ногами, послышался странный звук, словно кто-то полз по ковра. Парень и девушка опять дернули головами...

Посреди комнаты стояла громадная белесая овчарка. Она нехотя подошла к полке, встала на задние лапы, взяла зубами маленький подносик и осторожно просеменила к гостям. На круглой лакированной поверхности, разрисованной бутончиками, лежала голубая зажигалка и золотистая пачка импортных сигарет.

– Попробуйте моих, – негромко предложила Аделаида Сергеевна, словно увидела сквозь ткань пиджака пачку «Друга» в его кармане.

Он закурил, с трудом шевеля одубевшими пальцами и потихоньку злясь, что не может справиться с двумя маленькими предметами. И как она узнала, что он курящий?

Стоило вернуть зажигалку на подносик, как собака отнесла его и встала посреди комнаты, поглядывая на хозяйку.

– Рой, – укоризненно сказала та, – угости и девушку.

Овчарка вернулась к полке и, осторожно клацнув зубами, сняла корзиночку из деревянных полированных реечек – такую они видели в магазине сувениров. Принесла ее не спеша, прихватив пастью длинную гнутую ручку. Валентина взяла конфету, не спуская глаз с собаки. Овчарка тут же повернулась, водворила корзиночку на место и легла посреди ковра.

– Роюшка, ты же будешь мешать, – заметила Аделаида Сергеевна.

У овчарки дрогнуло острие ушей. Она убрала язык, встала и степенно прошла к секретеру красного дерева, за которым пропала, как замуровалась в стену.

– Начнем. Молодой человек, пройдите в соседнюю комнату и сядьте за стол. Когда мигнет лампочка, снимите трубку.

Он поднялся и неуклюже прошагал за дверь, на которую она показала.

В маленькой комнатке ничего не было, кроме столика, стула и телефона. Даже окон не было. Пустые стены неопределенного серого цвета освещались тусклой лампочкой без абажура. Застойный воздух отдавал лежалым тряпьем и рассохшейся бумагой. Тишина шуршала обоями. Видимо, это была кладовка – идеальная комната для размышлений, потому что глаза и уши тут отключались.

У телефона стояла крохотная пепельница – окурка на три. Он торопливо вдавил туда начатую сигарету, и тут же где-то в углу мигнула синяя лампочка. Он взял трубку.

– Единственное условие, – произнес бесцветный, как у робота, голос, отвечать честно. Первый вопрос: что вы делаете, когда вам не спится? Подумайте.

– Мне всегда спится, – удивился он.

В трубке что-то шелкнуло. Он подержал ее, раза два дунул и неуверенно положил. Возможно, стоило бы сказать, что если в библиотеке попадался детектив, то не спал часов до трех.

Лампа опять мигнула. Он схватил трубку.

– Кого больше любите: детей или собак? Подумайте.

Он помолчал, заколебавшись, – детей никогда не имел, а собак держал не раз. Но было велено говорить правду.

– Собак.

Трубка шелкнула. Он понял, что на аппарат ее можно и не класть, поскольку связь отключалась где-то в другом месте. Зря сказал про собак, цинизм это – любить их больше детей.

Лампа мигнула.

– Да? – спросил он, забывшись.

– Ваш самый любимый цвет? Подумайте.

Он старался думать, но думать было не о чем.

– Все одинаковы.

Трубка отключилась. Вроде бы замолчала надолго, и он пожалел, что притушил сигарету. Тянуло курить. Даже стало как-то не по себе, и успела мелькнуть мысль о воздухе, которого здесь явно недоставало. Затем показалось, что сзади кто-то стоит и дышит ему в спину. Он обернулся...

Серая пустая стена, на которой ничего нет, даже гвоздя не вбито. Он опустил глаза и вздрогнул – взгляд уперся в красную пасть, дышащую жарко и сильно. Собака наблюдала за ним, принюхиваясь к постороннему запаху влажным антрацитно-блестящим носом. Это был Рой. Нет, скорее всего, другая собака, потому что дверь не открывалась. Но когда он входил, овчарки в комнате не было.

Свет мигнул. Трубку он поднес к уху запоздало, когда та уже повторила вопрос:

– Пробуете ли вилок хлеб в булочной? Подумайте.

– Не пробую.

И через считанные секунды опять синее мигание и новый вопрос:

– По лестнице поднимаетесь пешком или обязательно ждете лифта? Подумайте.

– Поднимаюсь, если испорчен.

Вопросы пошли чаще, и его уже не просили думать. Да он и не мог, косясь на собаку, которая то появлялась, то пропадала. Может быть, на тридцатом мигании он наконец-то услышал:

– Последний вопрос: если жмет ботинок, на кого вы злитесь?

– На ботинок, – буркнул он.

– Возвращайтесь, – приказал голос.

В большой комнате пришлось зажмурить глаза. Там ничего не изменилось: так же стесненно сидела его невеста, которой, как он догадался, тоже задавали вопросы. И так же хозяйка пребывала в тени. Нет, изменилось – со столика исчезли деньги. Да руки Аделаиды Сергеевны теперь вертели миниатюрный вычислительный приборчик с кнопками и бегающими зелеными цифрами.

– Молодые люди, – чуть торжественно произнесла она, – можете вступать в брак. Вам ничего не грозит. У вас положительная флюктуация.

Они сидели молча, выжидая продолжения. Хозяйка убрала приборчик в темноту и заговорила тоном научных докладов:

– При взятой мною репрезентативности коэффициент совместимости приближается к единице. Хотите точнее?

– Хотим, – тихо согласился он.

– Коэффициент составляет восемьдесят шесть и три десятых. Это значит, что развод может случиться не раньше чем через пятнадцать лет.

– А все-таки может случиться? – спросила невеста.

– Дальше пятнадцати лет я кривую не пролонгирую. Неужели вам мало? Хозяйка усмехнулась в своем полумраке – было слышно, как она усмехнулась.

– Дело в том, молодые люди, что для дальнейшего прогноза нужны те качества, которые вы будете иметь через пятнадцать лет. Они мне неизвестны. Вам тоже.

– Хватит и пятнадцати, – согласился он.

– У вас будут мелкие стычки и временные разрывы. Их можно избежать. Всю жизнь опасайтесь одного друга дома; пока точно не знаю, мужчина это или женщина. Не оклеивайте стены красными обоями. И никогда не носите красных шарфов.

Она помолчала и приглушенно добавила:

– Каждая семья имеет свой положительный знак. Кто его знает, тот будет жить в мире. Я скажу ваш: чай должен заваривать мужчина. Вы меня поняли, молодой человек?

Он кивнул.

– Тогда все, – устало произнесла Аделаида Сергеевна и бросила в пространство: – Рой, проводи их!

Они торопливо встали и сразу пошли, стремясь исчезнуть до появления овчарки. Но Рой уже стоял в зеленой передней. Они медленно обошли его и выскочили на лестницу – дверь распахнулась почти сама. И тут же звонко закрылась, словно Рой захлопнул ее лапой, да они в этом и не сомневались...

На улице она разжала кулак – там сплющилась теплая шоколадная конфета.

– Я не видел ее лица, – сказал он.

***Заявление.** Прокурору Зареченского района. От гражданина Смирнова А. Н. В апреле месяце я со своей невестой Валентиной Турковой узнал адрес гражданки Калязиной Аделаиды Сергеевны, которая якобы гадает и может делать то, от чего волосы встают дыбом. Любовь любовью, а ошибиться в браке кому охота. Поэтому пошли.*

*Калязина предсказала нам догую совместную жизнь, взяв за это пятьде-сят рублей. Хотя мы с гражданкой Турковой вступили в законный брак, однако сделали это не по предсказанию, а по любви. Поступок Калязиной считаю сплошным жульничеством и прошу взыскать с Калязиной в мою пользу пятьдесят рублей.*

***Из дневника следователя.** Мой день. Утром допрашивал свидетеля о кладовище, у которой большая недостача. Попросил охарактеризовать ее. Свидетель думал-думал и наконец произнес: «У нее ум с телом не в согласии». После длительного разговора выяснилось, что у кладовищи очень хорошая фигура, но легкомысленный ум, что привело ее к аморальному поведению. А ведь неплохо: ум с телом не в согласии. У красивого человека должен быть и краси вый ум.*

*Потом допрашивал лаборантку из поликлиники о хулиганских действиях гражданина Конопелько, показания которой состояли из одной фразы: «Я ничего не видела, потому что с крови ушла на мочу». Видимо, чем ниже культурный уровень, тем труднее допрашивать этого человека. Впрочем, тем труднее распознать ложь, чем выше культурный уровень.*

*Затем было совещание у прокурора района («у преступности надо выбивать почву, чтобы и корней не оставалось»), а после составлял обвинительное заключение до шести часов. И все. И только-то? А дня нет.*

Казалось, что в передней стоит медведь, шкура которого вместо шерсти проросла изумрудно-блестящим мхом. Свет из иллюминатора падал на его спину, особенно зеленыя плечи и громадную, рахитично разбухшую голову.

– Раздевайтесь, – предложила ему хозяйка.

Медведь схватился лапами за голову и снял ее, как водолазный шлем, только что не отвинтил. Потом снял и шкуру. Хозяйка взяла одежду и небрежно повесила.

– Проходите.

Женщина – из мехов вылучилась молодая женщина – подняла с пола белевшую сумку и пошла в дверь, указанную хозяйкой.

В длинной комнате тлел красный полумрак. Его распылял торшер, который приземисто раскинул мухоморный абажур. За ним полыхали блестящие огненные портьеры, завесившие огромное окно. Такими же портьерами была зашторена левая стена. По правой вытянулись застекленные полки, уставленные книжными томами. Под ногами пунцовел ковер.

– Садитесь, – сказала хозяйка, кивнув на алое лохматое кресло, и села в такое же, только стоявшее подальше, за световым кругом.

Гостья опустила в мягкий ворс. Сумка встала рядом, крепко прильнув к ногам.

– Чем могу помочь?

От этого вопроса женщина ринулась к сумке, щелкнула замком и вытащила большую коробку конфет, тоже красную, словно подобранную к этому интерьеру. Гостья держала ее, не зная, куда положить, – в комнате не было стола.

– Рой, возьми, пожалуйста.

Женщина обернулась...

– Аах! – воскликнула она, отпрянув от клыкастой пасти.

– Не бойтесь, он умный.

Рой настырно потянулся к руке, осторожно прищемил коробку зубами и понес ее из комнаты.

– Как звать-то вас, милочка?

Гостья вздохнула, сгоняя испуг:

– Юлия. Мне дала ваш адрес дворничиха...

– Что вы хотите, милочка? – перебила хозяйка.

Юлия опять вздохнула – теперь она подбирала слова, чтобы выразить просьбу.

– Аделаида Сергеевна, у меня большая кооперативная квартира, есть своя машина, Георгий хорошо получает. У нас все есть. Вот и пришла посоветоваться...

Она умолкла, вновь подыскивая слова.

– О чем, милочка? – не выдержала хозяйка, так и не признав ее имени.

– Сама не знаю о чем.

– Ну, милочка, мои сеансы должны быть целенаправленны.

– Я объясню, – заторопилась Юлия. – Живем хорошо, а Георгий сидит как в воду опущенный. Все есть, и в то же время чего-то не хватает. Купили стереофонический магнитофон за семьсот рублей, и стоит зря. Какая-то промеж нас скука. Вчера спать легли в восемь часов. Я уж боюсь, как бы он с этой скуки не пошел искать приключений.

– Понятно, – сказала Аделаида Сергеевна, – вы, милочка, утратили доминанту.

– Что утратила?

– Женскую доминанту. Явление может прогрессировать, и тогда неминуемы эти... как вы их называете... приключения. Если желаете, я вам помогу.

– Конечно, желаю, – обрадовалась гостья.

– Сто рублей.

Юлия мгновенно склонилась к сумке, вытащила две пятидесятирублевые бумажки и замерла, вспомнив про собаку.

– Один умный человек, – философски заметила хозяйка, – сказал, что деньги не пахнут. А вот Рой считает, что пахнут. Не берет их, брезгует. Положите на торшер.

Столик, оказывается, был – маленький, приделанный к светильнику полированный овал. Юлия торопливо положила деньги и вернулась в кресло, усаживаясь основательнее, для сеанса. Ее лицо, взбухшее ранним жирком, розово засветилось, как и все в этой комнате. Она еще раз глянула по сторонам, обнаруживая все новые детали...

За хозяйкиным креслом виселось большое растение с узкими светло-бурыми листьями и корзиночками цветов, яркими, как раздавленные плоды граната. На ковре, у ног Аделаиды Сергеевны, стояла бордовая ваза чешского стекла с пирамидой оранжевых апельсинов. Книжки, маленькие и большие, тонкие и толстые, но все красных оттенков, словно здесь собрались одноцветные переплеты всего мира. Юлия перевела взгляд на платье Аделаиды Сергеевны – на фоне раскаленной солнцем глины бежали вверх юркие золотые ящерицы с раздвоенными языками.

– Социальная проблема номер один, – заметила хозяйка, – люди умеют делать деньги и не умеют жить. Итак, милочка, начнем.

Юлия опять нырнула в сумку и достала блокнот, приготовившись конспектировать. Аделаида Сергеевна поморщилась:

– Милочка, женщина обязана жить, как разведчик, – все запоминать.

Клиентка спрятала блокнот.

– Муж какого генотипа?

Гостья пожала плечами. Ей показалось, что Аделаида Сергеевна усмехается.

– Милочка, вы, наверное, знаете размер его обуви и костюма. Знаете его любимый суп и обожаемые сигареты. А такой пустяк, как мужской генотип, не знаете.

Юлия смущенно заерзала и даже покраснела, сразу вписываясь в интерьер, потому что белое лицо тут не смотрелось, как пустая страница в альбоме.

– Женщины видят у мужчин рост, должность и всякие там характеры. По старинке, милочка, по серости. А смотреть нужно не на мужчину, а на его генотип. Запомните, милочка, существуют три мужских генотипа: карьерист, бабник и алкоголик. В чем призвание женщины? В распознавании генотипа. Генотип не распознаешь – судьбы не угадаешь. Так к какому из названных генотипов относится ваш муж?

Клиентка замолчала, загипнотизированная вопросом хозяйки. Юлия шла сюда получить информацию, а тут спрашивали, да еще о таких вещах, о которых она ничего не знала и которые вроде бы не имели отношения к тому, зачем она пришла.

– Не знаю.

– Придется определять. Когда он приходит с работы?

– Вовремя.

– Что делает вечерами?

– Ест, смотрит телевизор, читает газеты...

– Он не карьерист, – заключила Аделаида Сергеевна. – Проверим на пьянство.

– Да что вы! – встрепенулась Юлия. – Только сухое по праздникам.

– Ясно. Проверим на секс. Посматривает ли он на женские ноги?

– Бывает... Иногда.

– Снится ли ему бокс, драка или война?

– Ни разу не говорил.

– Когда видит красивую женщину, что делает?

– Ну, отворачивается.

– Ага. И он любит мягкую белую булку, не так ли?

– Любит, – растерянно согласилась Юлия и хотела спросить, как это она узнала, но спросила другое: – Булка... к чему?

– Фрейд, милочка, свою сексуальную теорию строил на сновидениях. Я ее строю на вкусах. Ваш муж любит мягкую булку. Вы думаете, он действительно ее любит? Да плевал он на мягкую булку – это в нем проявляется подсознательное желание мять белое мягкое женское тело.

– Боже мой...

– Ничего не поделаешь. Ярko выраженный генотип бабника.

– Но он никуда не ходит.

– Выжидает, милочка, выжидает. Все мужчины чего-нибудь выжидают. Ведь не зря вы забеспокоились. Почувствовали, что он выжидает.

Теперь ее клиентка не беспокоилась, теперь она испугалась. Все поступки мужа, мелкие и покрупнее, которым она раньше не придавала значения, все его слова, сказанные прямо или брошенные вскользь, вдруг приобрели смысл, выстроились в четкую линию, как солдаты по команде, – выжидал. Иначе откуда бы в доме скука и брюзжание?

– Что же делать? – спросила она словами, которые, казалось, упали на мягкий ковер да там и заглохли.

– Найти, милочка, женскую доминанту, – потребовала Аделаида Сергеевна.

Юлия готова была ее найти, что и показала своим видом, скрестив руки на коленях и согнувшись.

– Ваша доминанта должна быть выше доминант тех женщин, которые окружают вашего мужа. Это достигается путем увеличения коэффициента современности. Я понятно говорю?

Юлия только кивнула, надеясь на последующие слова, более ясные. И они последовали:

– Во-первых, милочка, нужно иметь пару хобби, которые синхронизировались бы с интересами мужа. Чем он увлекается?

– Хоккеем.

– Милочка, я понимаю, это противно, но вам тоже придется полюбить хоккей, смотреть его по телевизору, ходить на стадион и кричать «шайбу-шайбу»...

– Это нетрудно, – согласилась Юлия.

– Читайте спортивную литературу, выучите фамилии хоккеистов, обсуждайте, спорьте, переживайте. Неплохо бы вам познакомиться с живым нападающим или полузащитником и ввести его в дом.

– А где его взять?

– Ну, это моя забота. Где-нибудь около стадиона. Что еще любит муж?

– Рыбалку.

– А у вас, наверное, и аквариума нет? Эх, милочка, вы должны не просто любить рыбу, а стать ихтиологом. Бредить мормышкой и всякой там улейкой.

Юлия напряженно смотрела на советчицу, стараясь ничего не упустить. Все это она вроде бы слышала и раньше – уважать мужа, – но в словах Аделаиды Сергеевны была какая-то убедительность. И говорила она не совсем про уважение, да и не простыми бабьими словами.

– Но у вас должно быть и свое, дамское хобби. Что-нибудь изящное и достаточно дорогое. Например, неплохо бы вам бредить розами или духами. И об этом должен знать весь мир. Муж, знакомые, сослуживцы прямо-таки обязаны вам их дарить. Милочка, вы не представляете, как аромат этих самых роз и духов поэтично ложится на женщину.

Ей хотелось видеть лицо Аделаиды Сергеевны, но оно было там, за ярким кругом, уже в процеженном свете абажура, который скрадывал черты, оставляя очертания.

– Иногда покуривайте. Научитесь дымить красиво, как это делают в фильмах шпионки или девицы легкого поведения. Употребляйте сигареты только одного сорта – дорогого и редкого. Курение повышает коммуникабельность женщины.

Хозяйка подняла к лицу руку, в которой блеснул белесый огонек. Потом мигнул другой огонек, рубиновый, и такой же рубиновый дым поплыл вверх, к рубиновым книгам. Может

быть, так падал свет, или прутик торшера бросил тень, но Юлии показалось, что в губах Аделаиды Сергеевны зажата длинная сигара.

– Вы, милочка, я вижу, употребляете чай. «Стакан чая» теперь звучит, как, скажем, «миска капусты». Кофе, только кофе! Чашечка кофе. Никаких растворимых, никаких электрокофемолок. Только ручная мельница. Почему? Я отвечу. Молоть кофе в ручной мельнице – это искусство. По-домашнему свободна, с сигаретой, с шуткой, в чуть распахнутом халатике, на глазах мужчины вы мелете, кипятите и разливаете кофе. В конце концов, у мужчины, если он таковой, возникает страсть не к напитку, а к вам...

Аделаида Сергеевна говорила об одежде, походке, интерьере, косметике, сиамской кошке... Ее сигарета-сигара была давно выкурена. И давно рассеялся дым, почему-то не оставив своего застойного духа.

– Умейте красиво выпить. Не ломайтесь. Никаких грубых и дешевых напитков. Вот так: «Рюмочку коньяку, пожалуйста». Или: «Будьте любезны, бокал шампанского». Кстати, мужчина впечатляет, когда женщина в самое неподходящее время капризно захочет выпить. И еще кстати: будьте пикантны, будьте чуть фривольны. Давайте мужчинам легкие авансы, не выплачивая всей суммы. Это их бодрит. А вы станете душой общества.

Хозяйка, видимо, устала. Ее голос сделался глуше, и казалось, что теперь он долетает из-под портьеры. Устала и клиентка, в голове которой все смешалось – когда пить чашечку коньяку и когда рюмочку кофе.

– И последнее, милочка. Старайтесь быть остроумной. Это опять вошло в моду. Например, закурите сигарету и серьезно заметьте: «Одна сигарета сокращает жизнь на пятнадцать минут». Все усмехнутся, поскольку это банальщина. Тогда вы помолчите и добавьте: «Лошади». И не носите в конце апреля меха. Смешно и жарко.

Аделаида Сергеевна вздохнула и сказала вроде бы самой себе:

– Боже, сколько мороки за сто рублей.

Клиентка молчала, не в силах переключиться с ее уроков на это прозаическое замечание. Хозяйка поднялась и окрепшим голосом приказала:

– Рой, проводи тетю.

**Заявление прокурору.** *Обращаюсь к вам с просьбой, которую, откровенно говоря, не могу точно сформулировать.*

*Я прожил с женой семь лет. Как говорится, в мире и согласии. В доме все есть, зарабатываю хорошо. Примерно с апреля месяца все круто изменилось – в ее поведении стали возникать странности. Началось все с розового прозрачного халата с одной пуговицей, да и той наверху. Я думал, что для сна. Ну купила и купила. Однако на следующий день она встретила меня в этом халате посреди передней: губы накрашены, волосы в начесе, улыбка на лице, и во всем какая-то неестественность. Обычно мы обедаем на кухне. А тут смотрю, стол накрыт в большой комнате, цветы в вазе, проигрыватель работает... Во время обеда она вдруг закурила, хитренько на меня глянула и спрашивает: «А знаешь ли ты, что от одной сигареты лошадь подыхает за пятнадцать минут?» Потом позвала на кухню, стала молоть кофе и два раза спросила про лошадь. Про эту дохнущую лошадь она спрашивает меня почти каждый день. Полнейший позор наступил, когда в гости пришел мой начальник Егор Кузьмич. Она трижды спросила его про лошадь, ворочала глазами, распахивала этот халатик, выкурила пачку сигарет и выпила коньяку больше Егора Кузьмича. Все ее фокусы мне трудно и перечислить. Она, например, завела сиамского кота, который ползает по стенкам и орет благим матом. Вдруг объявила, что умрет, если не увидит м'куу-м'бембу. Хобби, говорит, у нее такое. Кто бы к нам ни пришел, она каждого спрашивала, нет ли у него дома м'куу-м'бембы. Я отправился в библиотеку и с большим трудом выяснил, что этот самый м'куу-м'бембу есть динозавр, якобы обитающий в Центральной Африке, но которого не видел ни один европеец.*

*Скажем, в автобусе или в кино она может вдруг сказать, что ей ужасно хочется рюмочку коньяку. Всхлятывала не к месту, стала петь не мужским и не женским, а каким-то блеющим голосом... Я уже хотел обратиться к психиатру, когда случилась история похуже...*

*Однажды я выходил со стадиона и вдруг увидел, как моя жена прошла в раздевалку для спортсменов. Естественно, я притаился под трибуной. Вышла она с хоккеистом, о чем-то поговорила и пошла домой. Тут уж все ее фокусы стали понятны – так сказать, внезапная любовь. Дома спросил прямо: встречалась с мужчиной? Отвечает, что это не мужчина. А кто же, говорю, м'куу-м'бемба, что ли? Тут она совершенно ошарашила: заявила, что познакомилась с хоккеистом не для себя, а для меня. На кой черт мне хоккеист, да еще не из той команды, за которую я болею! В общем сел я писать заявление в народный суд о разводе. Тут она расплакалась и все рассказала...*

*Оказывается, ходила к какой-то предсказательнице, которая за сто рублей и научила ее всем этим глупостям. Не денег жалко, а ведь семью могла разрушить, товарищ прокурор. Поэтому я так все подробно и описал. Адрес этой гадалки я прилагаю.*

**Из дневника следователя.** *Я часто слышу, что природа ничего не делает зря, – все у нее продумано, все у нее рассчитано. Взять хотя бы размножение. Диву даешься, как она заботится о продлении рода... Есть существа, которые только и живут для размножения. Ну, хотя бы та рыба, которая, отметав икру, сразу погибает. Оказывается, и человек начинает стареть только потому, что миновал продуктивный возраст для деторождения. Природу даже не интересует дальнейшая судьба организма-родителя: размножившись, он может умирать, стареть, болеть... Вот как изворотливо борется природа за продление жизни на земле! Только она, мудрая природа, не знает, для чего эта жизнь нужна. Потому что природа не имеет разума. Я вроде бы имею. Поэтому и обязан узнать, для чего я, мы, все...*

Весна – это всегда неожиданность. Солнце, которое обязательно вдруг вспыхивает над головой и уже остается там на все лето. Небо оказывается, над городом есть голубое небо, а за ним есть и космос. Теплый воздух с какими-то неясными щемящими запахами, хотя еще ничего не цветет и не распускается, – или весной сердце может щемить от запаха мокрого асфальта и отсыревших скамеек? Становится больше женщин, может быть, и не больше, а просто они освободились от шуб и дурацких дубленок, вроде бы уменьшили свои здоровенные продуктовые сумки и веселее застучали каблуками.

Но такой весны не было. Рябинин подошел к окну, вглядываясь в густой белый воздух, в котором медленно ехали автомобили, помигивая тусклыми фарами. Туман ли это, мелкий ли дождь, или зимнее небо прощально опустилось на землю и начало медленно съедать снег? И не было неожиданности. Весна пришла втихомолку, выдавая себя только грязью и мутными ручьями, секущими остатки плотно слоенного снега на панелях. Да вот светло – шесть часов вечера, а светло.

Тихо открылась дверь. Рябинин обернулся.

– Скоро уходите? – спросил Александр Иванович, комендант здания.

– Сейчас. А что?

– Окно будем разгерметизировать. Оставьте ключ в дверях.

«Разгерметизировать». Язык портили на глазах. Ведь есть простые и точные слова: открывать, распечатывать, в конце концов раскупоривать... Но можно понять и коменданта – он стремился быть современным и в своем маленьком деле, хоть так приобщиться к научно-технической революции. Кстати, из этого загерметизированного окна дуло всю зиму. И все-таки весна пришла, коли окна разгерметизируют.

Рябинин собрал бумаги и уложил их в сейф.



В юности, когда он воспитывал в себе волю, изучая учебники психологии и пособия для безвольных, среди прочих усвоил одну полезную рекомендацию: не подрывать волю явно невыполнимыми планами. Теперь он волю уже не воспитывал и, может быть, поэтому составлял ежедневные, еженедельные и ежегодные планы, которые невозможно было выполнить ни в дни, ни в недели, ни в годы. Он это знал и все-таки на понедельник написал столбиком четырнадцать пунктов, из которых сделает, дай бог, половину. Сделает главное. Например, проведет все необходимые допросы и вряд ли прочтет вторую главу «Науки о запахах», первую осилил месяц назад. Выполнит очную ставку и определенно не пойдет на лекцию «Психология подростка». Сходит в столовую, которая в плане не значится, но не успеет в буфет за стаканом молока, который в плане записан и который нужно бы выпить ради гастрита.

Рябинин тешил себя надеждой, что стоит ему расследовать дела, томящиеся в сейфе, как наступит другая жизнь: нормальная, плановая, с одиннадцатичасовым стаканом молока. Этой надежде было много лет, ровно столько, сколько он работал следователем, потому что дела в сейфе никак не кончались.

Он клал «Науку о запахах» в портфель и на стук двери не обернулся, полагая, что начнется разгерметизация.

– Хорошо, что не ушли, – сказал прокурор.

Рябинин обернулся, увидел у него в руках бумажки и подумал совершенно обратное, потому что эти бумажки означали появление пятнадцатого пункта в плане.

– Базалова заболела. Посмотрите эти странные жалобы.

Слово «странные» прокурор чуть выделил, намекая, что жалобы интересны. Мол, не просто работа, а интересная работа, мол, специально для вас.

Рябинин взял разномерные листки, схваченные на уголках скрепкой, опустил их в портфель рядом с «Наукой о запахах» и шумно вздохнул.

– Там опросить человека три да решить вопрос о составе преступления, понял его вздох прокурор.

– Хитрый вы, Юрий Артемьевич, – буркнул Рябинин, надевая плащ.

– Почему же?

Прокурор потянулся к своему носу, намереваясь его пошатать, но руки не донес. Эта привычка – в задумчивости пошатывать нос – стала притчей во языцех. На новогоднем вечере даже была пропета частушка: «Когда вопросы он решает, то нос усиленно шатает. Хорошо, шатает свой, а не чей-нибудь чужой». Юрий Артемьевич справился с некрасивой привычкой – теперь вцепился в подбородок и двигал челюсть туда-сюда.

– Эти жалобы я видел у вас на столе еще вчера. Мне вы принесли их сегодня, в пятницу, в самом конце дня, намекая, что можно поработать дома.

Прокурор улыбнулся и отпустил подбородок.

– Я и сам беру работу на дом.

– Сами можете, а загружать подчиненного не имеете права.

– Ну, чем вы будете заниматься два дня? Смотреть телевизор?

– Не держу.

– Играть в домино, карты, шахматы?

– Не играю.

– Болеть за какую-нибудь команду?

– Век не болел.

– Копаться в земле? У вас нет участка. Тогда, пить вино?

– Гостей не жду.

– Может быть, вы стоите в очереди за коврами?

– Нет, – поддержал игру Рябинин.

– Сергей Георгиевич, вы не умеете отдыхать, как все нормальные люди...

– Упустили рыбалку, прибавление полочек, обед у тещи, прогулки с пуделем и вязание крючком.

– Этим вы тоже не занимаетесь. А если не умеете отдыхать, тогда работайте.

– А если у меня есть хобби? – спросил Рябинин.

– Не представляю вас собирающим значки, спичечные наклейки или бутылочные этикетки...

– А серьезного увлечения вы не представляете? – улыбнулся Рябинин, говоря уже не о себе.

– Уж не ищите ли вы смысл жизни? – улыбнулся и прокурор.

– Ищу, – неожиданно для себя и чуть с вызовом признался следователь.

– Ну, это не хобби, – посерьезнел Беспалов, заметив, что его подчиненный заметно покраснел.

– Да, это не хобби.

Юрий Артемьевич на секунду задержал его руку в своей: хотел сказать, или спросить, или хотел поспорить... Но они уже прошли коридор и были у выхода.

То зимнее небо, которое, спасаясь от солнца, опустилось на землю, теперь опустилось и на Рябинина. Липким холодом оно коснулось лица, но больше всего ему подошли стекла очков, которые сразу побелели от незримых капель, словно кто-то шел рядом и бесшумно работал распылителем. Идти пешком сразу расхотелось – только очки будешь протирать. Рябинин шагнул в троллейбус, который по воде подкатил с шипением...

Лида была дома. Она пролетела мимо, коснувшись губами его щеки, и понеслась на кухню – видимо, только что пришла и готовила еду. Там уже что-то шипело.

Рябинин быстренько разделся до трусов и приоткрыл дверь на балкон. Одна из тех мыслей, которые потоком бегут в нашем сознании и пропадают неведь куда, вдруг попыталась остановиться. Но с балкона ринулся холодный воздух, частичка зимнего неба, и Рябинин взял гантели. Тело, просидевшее день неподвижно, теперь наслаждалось работой; оно уже перестало чувствовать холод и порозовело. Но был еще резиновый жгут, который то щелкал по спине, опадая, то дрожал, растягиваясь на вытянутых руках.

– Кушать подано! – донеслось из кухни.

Рябинин трусцой пробежал в ванную. Телу предстоял еще один праздник – горячая вода. И тело праздновало вместе с душой, потому что, как известно, душа человека обитает в его же собственном теле...

Лида сидела за столом в своем любимом халате – зеленом, линялом, из мягкой фланели. Волосы, брошенные свободно, как им бросилось, закрывали всю спину и плечи. Казалось, Лида выглядывает из шалашика.

– А ведь я догадался, почему ты любишь этот халат, – сообщил он, приглаживая мокрый затылок.

– Почему же?

– Зеленое идет к твоим волосам. Ты, наверное, даже в авторучку набираешь зеленые чернила.

– А я догадалась, почему все тебя считают умным.

– Ну и почему? – теперь спросил он, зная, что его сейчас подденут.

– Ты очень долго думаешь. Этот халат пора уже выбрасывать.

– Кстати, долго думать – достоинство. Долгодумов значительно меньше, чем быстродумов.

Лида положила ему салат. Рябинин поддел бледный листик и вздохнул:

– Никто меня умным и не считает.

– И даже сам?

– Сам тем более.

– Отчего ж такое самоуничижение?

– Причин много...

– Например?

– Сегодня мне загадали загадку, а я не смог отгадать.

– Возьми отсрочку, – профессионально посоветовала Лида, которая благодаря его стараниям сносно разбиралась в уголовном процессе.

Рябинин улыбнулся, представляя загадку в процессуальном документе.

– Два раза вызывал одного свидетеля, и он все приходил навеселе. Пригрозил, что отправлю в вытрезвитель. Наконец явился трезвый, дал показания, подписал протокол и говорит: «Товарищ следователь, все вы спрашиваете... А если я вас спрошу?» Пожалуйста, отвечаю. Думал его интересует дело. А он решил проверить мои умственные способности. «Отгадайте загадку: висит груша – нельзя скушать».

– Как же ты не отгадал? Ведь это лампочка!

У Лиды загорелись глаза. Она перестала есть и выпрямилась, забросив волосы назад, подальше с покатых плеч. Перед ним сидела девочка, готовая отгадывать загадки, прыгать через скакалочку и бегать взапуски. Наивная девочка, которой уже за тридцать. Которая полагает, что в прокуратуре загадывают детские загадки про лампочки. Рябинин смотрел на нее, позабыв про салат, и давил радость, которая показалась бы ей беспричинной и от которой он получал наслаждение, – она, слава богу, никогда не повзрослеет. Да и что такое женщина, как не девочка, которая стала женственной. В нем тоже сидел мальчишка, и Рябинин не знал, как это сказывается на его личности, – себя не видно. Но ему нравились люди, которые не запечатили своей детской души жизненным опытом. Душа не окно, быстро не разгерметизируешь.

– Не лампочка.

– «Висит груша – нельзя скушать» всегда была лампочкой.

– Нет, это тетя Груша повесилась.

Секунды три она смотрела на него приоткрыв рот. Потом засмеялась, и обрадованные волосы опять застелили плечи. Она их вновь отбросила, мгновенно перестав смеяться.

– Дурацкая загадка.

– Как раз для следователя, с трупом.

Рябинин принялся за чай – напиток номер один. Он мог пить его всегда и везде. Мог пить как вино, вместо вина, в веселой компании и уж тем более в одиночестве. Когда Лида на кухне заваривала чай, он из комнаты безошибочно выкрикивал ей сорт. Все хотел завести чайник в прокуратуре, да как-то стеснялся бегать со стаканами. А чай был бы ему полезнее отдыха. В столовском же буфете стоял импортный никелированный агрегат, пофыркивающий и погудывающий, – теперь все пили кофе. Без молока и сахара. Из маленьких чашечек. Смакуя.

– Еще налить? – спросила Лида, чуть тревожа голос: третий стакан.

– Конечно.

Чай для Рябинина был не просто напитком. Как многие городские жители, инстинктивно жаждущие связи с природой, он чувствовал ее даже в чае. Чай и есть частичка природы. Он пах травами, да и сам был обыкновенным сушеным листом. Стакан чая – его нужно пить только из стакана, – поставленный на солнце, солнцем же и вспыхнет, словно эта звезда плеснула в него свою огненную жидкость, потому что чай жил под солнцем и запас бушующего света не на одну заварку. Для чая не годились маленькие чашечки, вроде кофейных, его там не видно, да и не идет ему манерность, как, скажем, не идет писать на маленьких пачках членистоногие выражения «Росглавдиетчайпром». Нужно очень просто и очень кратко – «Чай». Только золотом. Казалось бы, не наше слово, а давно обрусело и стало своим, как «дом» или «хлеб». Есть длинный и нежный цветок «иван-чай». Но нет и не могло быть «иван-кофе» или «иван-какао».

– Еще? – удивилась Лида, удивляясь этому каждый вечер.

– Последнюю.

– Водянка будет. Может быть, теперь кофейку? – хитренько спросила она.

Если чай Рябинин считал самой природой, то кофе относил к продукту научно-технической революции, к ее издержкам. Когда он видел чашку темной дегтярной жидкости с ободком желтой пены, ему казалось, что ее зачерпнули из мутного городского ручья. Тут напечатанное на коробке слово «Ростовкофецикорпродукт» его не коробило. Он не верил любителям кофе, подозревая их в простой приверженности моде.

– Спасибо.

Рябинин поднялся и поцеловал Лиду.

– Что будешь делать? – спросила она.

– Прокурор дал небольшой матерьяльчик. Уж посмотрю сразу, чтобы завтра быть свободным.

– Небольшой? – Она прищурилась, и ее серые глаза потемнели: эти большие и небольшие матерьяльчики бывали почти каждый выходной.

– Крохотный, – заверил Рябинин и, чувствуя от чая некоторую тяжесть, прошел в комнату к своему огромному столу.

Ампирная старинная лампа сияла позолотой, как собор. Он сел в кресло и включил ее, хотя в комнате было еще светло, – для уюта. Желтый свет упал на крупно исписанные листки его статьи, а может быть, целой монографии, озаглавленной «Винновое поведение». Для кого писал, кому она нужна... Только для себя, с единственной целью – выговориться, отдать свои мысли бумаге, потому что они мешали, толкали на споры, которые никогда не приносили ему облегчения. Впрочем, статью можно предложить какому-нибудь юридическому журналу.

Он начал разгребать место...

Статью подсунул под папку с выписками и вырезками о достижениях криминалистической техники. Пачку журналов осторожно сдвинул вправо так, чтобы она вторым боком стиснула пачку книг. Пишущую машинку переставил на самый край. Дневник пока заткнул между кипой обвинительных заключений и куском лилового флюорита, который под абажурным светом казался черным. Свинцовый кастет, употребляемый как грузик, был отправлен в кучу, второй год растущую в том месте, где стол примыкал к стене: беглые записи, письма, брошюры, конспекты, фотографии... Перед собой оставил только портрет Иринки, которая сейчас была у Лидиной мамы, – выпросила ее пожить в предшкольный год. И от этого у Рябинина частенько портилось настроение и ныло сердце.

Место было расчищено. Он извлек прокурорский материал и начал читать, ни к чему не прислушиваясь и не приглядываясь, но чувствуя каждый Лидин шаг. Вот она включила воду – моет посуду. Выключила. Вытирает, позвякивая ложками. Отбросила волосы, и они, видимо, недовольно и сухо зашуршали. Идет в комнату. Дождался... Оказывается, он тихо и нетерпеливо ждал, когда она сядет в кресло, включит торшер и возьмет книгу. Тогда можно не оборачиваясь протянуть руку, которая котенком уткнется в ее теплое плечо.

Он засмеялся:

– Ты когда-нибудь видела м'куу-м'бембу?

– Видела, – спокойно ответила Лида.

Рябинин повернул к ней голову – она сидела в кресле с ногами, свободно там умещаясь.

– Где же?

– У себя на работе. Сидит в соседней комнате. Двадцать лет пишет кандидатскую диссертацию. Дурак дураком. Черный, уже лысый, нахальный. Типичный этот... которого ты назвал.

Рябинину нравилась ее свободная фантазия, которая соединяла, казалось бы, несоединимое.

– А что? – Она кивнула на его листки. – Вашу мембу украли или убили?

Он вышел из-за стола, потому что все прочел и осталось только спланировать вызовы свидетелей. И подумать, какой тут будет состав преступления, а думалось лучше всего на ходу.

– Мошенничество. Например, за деньги одна дама предсказала молодоженам, что их брак окажется долговечным.

– И правильно предсказала?

– Пока живут.

– Сережа, тогда я не понимаю, что такое мошенничество.

– Завладение чужим имуществом путем обмана.

– Какой же она допустила обман? Гадали добровольно. Деньги отдали сами. И предсказание, возможно, сбудется.

– Другую женщину за деньги учила обращаться с мужем.

– И правильно делала.

– Это почему же?

– А кто девушек этому учит? В школе? В семье? Подружки?

– Сердце.

– Сердце научит любить.

– А любовь сама знает, как обращаться с любимым человеком, – убежденно ответил Рябинин.

Он подошел к ней и аккуратно, как тончайшей золотой проволокой, обмотал свою руку ее волосами. Лида закрыла книгу и не мигая смотрела на торшер, как смотрят в огонь. Она уже была во власти той мысли, которую готовила для ответа.

– Сережа, должно быть место, куда человек мог бы пойти и спросить о том, что его мучает. Например, о совести, о сомнениях, о той же любви, о тоске своей...

– К батюшке, что-ли?

– Не-ет, ведь хочется знать мнение не кого-нибудь, а государства.

– Есть общественные организации.

– Не-ет, тут нужен специалист по человеческой душе.

Однажды Рябинин не смог вразумительно ответить студентам юридического факультета на вопросы: почему человек идет за советом к следователю; почему заключенные пишут ему письма, а после отбытия наказания частенько приезжают поделиться, как со старым другом? Потому что следователь – тот представитель государства, который в конечном счете занимается человеческой душой. Лида на вопрос студентов ответила бы сразу. Откуда у нее взялась такая зрелая мысль? Ведь он только что восхищался ее очаровательной наивностью...

– Но ведь мошенница получала деньги, не затрачивая труда.

Лида улыбнулась, заблестев веселыми глазами:

– Вот тот мумба, про которого я говорила, получает немалые деньги и не затрачивает никакого труда.

– Женская логика.

– Я и есть женщина.

Он размотал волосы, взял ее ладошку и погладил своей растопыренной пятерней, ожидая прикосновения к нежной коже. Но ладонь оказалась сухой и шершавой, пожалуй, грубее его ладоней. Он руками только писал и печатал. Ее же маленькие ладошки стирали, мыли, убрали... Та раздерганная мысль, которая во время разминки хотела зацепиться в голове да так и пропала, теперь вернулась осознанной:

– Ты окна разгерметизировала?

– Что я... окна?

– Распечатала?

– Да. И балкон.

– Я же хотел сам...

Рябинин поднял ее руку и поцеловал эту выдубленную мойками кожу, чуть пахнувшую хвоей:

- Вот тебе надо сходить к этой мошеннице.
- Зачем? – удивилась Лида.
- Узнать, как со мной обращаться.
- А я знаю.
- И кто ж тебя научил?
- Сердце, – шепотом ответила она.
- Но ведь сердце умеет только любить.
- Да. А любовь уже все умеет.

*Из дневника следователя. Сегодня листал телефонную книгу и удивлялся: какая пропасть научно-исследовательских институтов. Чего только не изучают! Полимеры, цемент, свеклу, огнеупоры, сварку, масличные культуры, полупроводники... Не понимаю, как можно интересоваться состоянием, скажем, цемента, когда рядом живые люди, – их же состояние интереснее. Изучают поведение насекомых, рыб и животных... Опять-таки не понимаю, как можно изучать, например, поведение обезьяны, общаясь ежедневно и ежечасно с людьми... Да ведь человек интереснее! Его поведение нужно изучать, его повадки!*

Отступившись от города, зима еще цеплялась за этот парк, который лежал всего в каких-то километрах пяти от окраин. Черные дубы, окаменевшие за зиму, стояли тихо, как стоят деревья поздней осенью или ранней весной, словно чего-то ждали. У земли их стволы проросли плотным мхом и казались укутанными потертым зеленым бархатом. Пегая прошлогодняя трава лежала на земле, как настеленная. Круглые ямы и ямки промерзли молочным льдом и ярко белели под теплым солнцем.

Пожилой грузный мужчина медленно брел по безлюдной аллее. Его тяжелое длинное пальто было распахнуто и, казалось, своими широкими полами волочится по грязи. Шляпу он держал в руке, подставив лысую голову теплу. Он частенько сходил с дороги и подолгу вытирал ботинки о сухую траву – тогда смотрел по сторонам дальнозоркими глазами. Людей почти не было: на всех воротах висели объявления, что парк закрыт на просушку. Да и грязь. Людей почти не было, но были птицы, и хотя они свистели, щелкали, прыгали и шумно взрывали воздух где-то вверху, на деревьях, казалось, что ими заполнены все аллеи.

Мужчина вытер ноги тщательнее. Впереди, на грязной, еще не перекрашенной скамейке, сидела женщина. Он осторожно подошел и вежливо кашлянул. Женщина не шелохнулась.

– Здравствуйте, – сказал тогда он. – Я вам звонил...

Она чуть повела головой, вроде бы показывая куда-то в землю. Он пошарил взглядом по вдавленным каблучным следам, по куче прошлогодних листьев, по скамье и увидел рядом с женщиной разостланную газетку. Он сел, заговорив, прихихикивая:

– Верно вы сказали... Мимо вас не пройдешь. С того конца парка видать.

Но ее лица он не видел: его закрывали поля бордовой шляпы, надетой слегка набок и огромной, как колесо.

– Что вы хотите? – спросила женщина низким грудным голосом.

– У меня, Аделаида Сергеевна, дело тонкое, – вздохнул он.

– Разумеется, – поощрила она скорее не словом, а тоном. – С толстыми делами идут в милицию...

– Чтобы понять, нужно в мою жизнь вникнуть, хотя бы на грамм.

– Хоть на килограмм.

Клиент помолчал, решая, не насмехается ли. Но без ее лица было не решить. Тогда он закряхтел, вдавливаясь поплотнее в скамейку.

– Так вам скажу: права мама. Бывало, лупит меня и приговаривает: «Ласковый ребенок две матери сосет, а вот такой урод ни одной не будет». Фигурально говоря, всю жизнь сосал

лапу. Папаша тоже был без высшего образования – схватит сапог и меня по голове. Вот и получалось, что в отроческом возрасте поехал я в колонию. А уж потом в моей жизни что ни день, то факт. А они в этом возрасте учились играть на пианинах! И теперь все бренчат.

– Кто?

– Соседи мои, Иванцовы.

– Ну и что?

Поля ее шляпы дрогнули. Он ждал, что Аделаида Сергеевна повернется, но она осталась прямой и неподвижной, как парковый дуб.

– Я же говорил, что у меня дело тонкое. Возьмем квартиру. Я до срока жил, считай, в «тещиной комнате»: шаг вдоль – шаг поперек. А ему лет тридцать, ей приблизительно тоже в это время, а у них отдельная двухкомнатная. Почему?

– Ну, уважаемый, с такими вопросами обращайтесь в центральную прессу.

Но он уже не слышал. Подбородок, где, казалось, скопился жир со всего лица, побородовал, как и ее шляпка.

– У меня вместо жизни случились полные нули. В чем же я ходил в тридцать-то лет? В ватнике, в кирзовых сапогах шлепал... А он в костюмах полосчатых да плащах импортных. Шуба у него дубленая, а у нее цигейковая – с баранов надрали. Пил-то я что? На поллитру разживешься да на огурец давно просоленный. А они коктейли по субботам тянут... А ел что? Да что достану. Хамсу, к примеру. Эта же свиристелка может вечер пробежать по гастрономам буженины ей подавай. А мою холеру, так называемую жену, за бутылкой пива не выпрешь. Из скотины у меня была одна кошка, да и та сбежала. А у них собака лохматая, красавица, не собака, а прямо кот в сапогах. На чем я езжу? На общественном транспорте. А они «Москвича» купили! За какие такие заслуги?

Его вдруг схватил какой-то ухающий кашель, которым он зашелся надолго, теперь покраснев весь, до самого темени. Вздрагивала скамейка, и ритмично колыхались поля шляпы. Голуби, бежавшие было к ним, ошарашенно бросились в небо...

Отдышавшись, он вытер лицо платком и уже тихо досказал:

– Обидно. Смотрят они на меня, как на чучело. Вроде как уцененный какой. А вчера звонят в дверь. Папаша, мол, у нас остались кое-какие продукты, не хотите ли? Верно, остались. Наберут, а не сожрут. Полторта, сыру с килограмм, салатов да винегретов. И бутылок пять, в каждой винца на донышке. Взял. Не обидно ли, а?

Он потянулся под шляпные поля, стараясь на глаз определить, обидно ли. Но увидел ее ухо и щеку, розовеющие в солнце и свежем воздухе.

А воздух вдруг посинел от прозрачного дыма. Запахло кострами. По краям парка жгли поля сухой травы, и никто не знал, нужны ли эти палы, или мальчишки озоруют, благо стебли вспыхивали от единой спички.

– Обидно, – согласилась Аделаида Сергеевна.

– Пусть им тоже будет обидно, как и мне, – оживился он, нервно застегивая пальто, словно защищаясь от дыма.

– Чего вы хотите?

– Какую-нибудь им пакость.

– Пакости, уважаемый, я не делаю.

– А мне сказали...

– Дураки сказали, – перебила она. – Я занимаюсь эманацией утраченного духа.

– Я, считай, все утратил...

– Так чего вы хотите?

– У меня ихние продукты поперек горла стоят. Пусть и они хоть раз поперхнутся.

– Сто рублей.

– Дорого, – удивился он. – Могу только пятьдесят.

- Такая будет и эманация.
- Какая такая?
- Уцененная.

Он насупленно посмотрел на дубы, на кучу прелых листьев, на сизый воздух. Пятьдесят рублей тоже деньги.

- Я на пенсии.
- В автобусе вам уступят место.
- Ладно, пусть эта... уцененная.

Он полез в нагрудный карман и долго шевелил там пальцами, вслепую отсчитывая сумму. Она взяла ее небрежно, как берут трамвайный билет.

– Почтенный, сообщите мне какую-нибудь подробность из их жизни. Например, какие между ними отношения?

- Вроде бы любовь. Ревнует ее сильно...
- Достаточно. Теперь нужны их имена и адрес. Подождите, я возьму записную книжку.

Рой, дай сумочку!

Гора сухих листьев вздрогнула и зашелестела. Из нее медленно вышла огромная белесая овчарка с дамской сумочкой в пасти. Пенсионер вцепился в скамейку и смотрел на собаку, тяжело дыша. Рой тоже дышал тяжело, – жарко.

- Ну? – сказала Аделаида Сергеевна, достав записную книжку.
- А вы ничего такого... В смысле смертельного или подсудного?..
- Я, почтенный, работаю на биотоках.
- Током и убить можно.

Он медленно вздохнул, боясь движением груди привлечь внимание овчарки.

*Из дневника следователя. Рядом со мной живет семидесятилетний пенсионер, которого непонятно зачем отправили на пенсию: он бегают, что-то носит, что-то сверлит, кого-то навещает... Ему известно все на свете. Вчера остановил меня и почти час рассказывал, чем он занимался в жизни: от преподавания до водолазных работ, от дрессировки овчарок до ремонта воздушных шаров...*

– Скажите, а смысл жизни вы искали? – спросил я, потому что кого и спрашивать, как не семидесятилетних.

- На Марсе?
- Нет, на Земле.
- Смысл жизни... кого?
- Себя, нас, всех...
- А-а, смысл жизни в этом смысле, – усмехнулся он. – Некогда было.
- А вы бы в свободное от работы время.

Максим Николаевич Иванцов, молодой ученый, опять перечеркнул фразу. Их, перечеркнутых, уже набралось полстраницы – великие писатели творили чище. Иванцов начал морщиться, потому что сочинял не научную статью, не доклад и не докторскую диссертацию, а тезисы популярной лекции для клуба здоровья на тему «Берегите нервы!». Видимо, начать стоило с главной мысли, ради чего и затевалась лекция. А там пойдет.

Иванцов взял чистый лист бумаги и написал: «Владеть своими нервами можно научиться так же, как, скажем, владеем мы своими собственными руками. Примеры». Он подумал – зачеркивать ли? – все же оставил и вписал следующий тезис: «Более половины тяжелых стрессов случается из-за пустяков. Примеры». Третий тезис лег на бумагу как-то сам, не придумываясь: «Стресс – это защита организма от неблагоприятных ситуаций. Но мы поставим вопрос иначе: защитим свой организм от стрессов! Примеры».



Лаборантка Верочка приоткрыла дверь ровно на столько, чтобы в щель пролез громадный парик, который на маленькой головке выглядел кавказской папахой.

– Максим Николаевич, вас к телефону.

– Жена?

– Нет. Но женщина.

Он махнул авторучкой:

– Скажите, что занят. У меня через час лекция.

Верочка с готовностью пропала. Иванцов склонился к бумаге – тезисы пошли легко: «Мы умеем беречь время, деньги, электроэнергию, ботинки... Мы даже умеем беречь сердце, печень, желудок... Но мы не умеем беречь нервы! Примеры».

Дверь опять приоткрылась. Теперь кудлатая папаха-парик втянула и худенькую фигурку.

– Максим Николаевич, она говорит, что вы ждете ее звонка.

– Жду? Не помню...

Иванцов чуть помедлил, оказавшись меж двух желаний: записать новый тезис или сразу пойти к телефону. И все-таки поднялся. Возможно, кого-нибудь и просил позвонить...

Взяв трубку, он хотел сказать «Алло!» или «Да!», но ничего не сказал, удивившись тяжелому и торопливому дыханию на том конце провода. Так мог дышать только мужчина. Или женщина, пробежавшая дистанцию.

– Что же вы молчите? – спросила трубка все-таки женским, низким и сочным голосом, каким в опере поют мамыши, няни и бабушки.

– Я слушаю вас, – недовольно ответил Иванцов, словно его поймали за подслушиванием.

– Максим Николаевич Иванцов?

– Да. А вы кто?

– Это неважно.

– То есть как неважно? – удивился он.

– Вы меня не знаете. Я живу рядом с вашим домом.

– И все-таки вам лучше назваться.

– Максим Николаевич, время дорого, а мы разводим антимонии...

– Чего вы от меня хотите? – перебил Иванцов.

– Сделать сообщение...

– Чтобы сделать научное сообщение, уважаемая незнакомка... – опять перебил он, но и его тут же перебили:

– Сообщение ненаучное, Максим Николаевич.

– А какое же?

– Анонимное. Только что в вашу квартиру вошел мужчина.

– Вор, что ли?

– Он вошел вместе с вашей женой Людмилой.

Иванцов замолчал. Начиная разговор с незнакомкой, он подсознательно допускал, кем она могла быть: референтом из головного института, соискательницей, матерью студента, забытой сокурсницей, в конце концов, знакомой, которая решила его разыграть.» А этой женщины не допускало даже подсознание.

– Мало ли у жены знакомых, – невнятно предположил он.

– Знакомый в чине капитана. Кстати, она с ним встречалась и на прошлой неделе.

Среди военных ни друзей, ни родственников у них не было.

– А зачем вы это мне сообщаете? – наконец нашелся Иванцов; он решил, что все-таки нашелся.

А кому же сообщать? Не в милицию же.

Она усмехнулась: Иванцов это понял по особому, какому-то булькающему тембру, словно ее голос пропустили сквозь воду.

– Это не ваше дело! – сказал он решительно, зная, что ему надо бы положить трубку или обругать ее; нет, лучше пристыдить; нет, все-таки лучше бросить трубку на аппарат так, чтобы треск ударил по ее огромным – конечно, огромным, как у всех анонимщиков, – ушам.

– Конечно, не мое, – спокойно согласилась она. – Но вы еще молоды, Максим Николаевич. Запомните, легче придавить искру, чем тушить пожар.

И она положила трубку. Трубку положила все-таки она. Он еще держал, теперь уж боясь с ней расстаться, – ведь стоит опустить ее на аппарат как нужно что-то предпринимать.

– Неприятность?

Верочка внимательно смотрела на него своими маленькими глазками, а может быть, и не маленькими, – под таким париком все мельчало.

– Нет-нет, – ответил он и осторожно положил трубку, словно это была не мембрана, спрятанная в пластмассу, а что-нибудь живое. Например, ухо. Почему ухо? Уж тогда глаз, – ведь она подсматривала.

Иванцов вернулся в свою комнату и медленно опустился на стул. Перед ним лежали тезисы о нервных стрессах...

Навет? Ложь? Возможно. Но как эта наветчица узнала его имя, адрес, рабочий телефон... Да и какой смысл ей обманывать? Бежала к телефону, даже запыхалась. А ведь сегодня Людмила не работает, должна быть дома – и это совпадает.

Позвонить! Ну, конечно, позвонить. Для чего? Чтобы услышать фальшивый голос и дать уйти капитану?

Он сцепил пальцы и закрыл ими глаза, как замуровал решеткой. Приятели смеялись над его ревностью. Людмила на нее обижалась. Выходит, что зря смеялись и зря она обижалась...

Иванцов вскочил. Телефонная трубка почему-то прыгала в руке, как свежепойманная рыба, а диск, наоборот, словно заржавел – он всегда крутится с одинаковой скоростью, как бы человек не спешил.

– Такси?!

Людмила Иванцова заметила, что самые хлопотливые дни те, которые предназначены для отдыха. Поспав после ночного дежурства каких-нибудь часика три, она уже стояла посреди квартиры, не зная, за что взяться.

Прежде всего «Чародейка» – спальня гарнитур, который достали на той неделе. Максим ворчал: гарнитур приобрели – жилплощадь потеряли. Громадные кровати, сдвинутые вместе, съели одну комнату, распластавшись посередине, как музейный экспонат. Да и спальня стала походить на музей, где табличка «Руками не трогать» не удивила бы. Людмила собиралась двигать эту «Чародейку» до тех пор, пока комната не обретет жилой вид.

Еще нужно пробежаться по магазинам, что-нибудь до пяти часов, пока народ не пошел с работы. Но это потом, после «Чародейки». А можно и не ходить, – вчера была.

И обед, приготовить настоящий обед с привлечением кулинарных книг, вина и праздничного сервиза. На первое гороховый суп, который любит Максим. Ну, затем тушеное мясо. И клюквенный мусс на десерт. А можно придумать и совсем-совсем другое. Жена осталась дома – это должно чувствоваться. Даже по обеденному запаху и, может быть, прежде всего по нему. Максим шутит: любовь зависит от уюта. А вдруг не шутит? Нет, шутит, потому что уютотлюбцы неревнивы.

Людмила застегнула халат и взялась за «Чародейку».

Кровати, плотиной перегородившие комнату, не давали развернуться, да и сами не разворачивались. Она решила выставить в переднюю невысокий сверкающий комод, который выглядел более покладистым. Комод медленно поехал, спотыкаясь о паркетины.

Когда он оказался в передней, зазвонил телефон. Людмила сняла трубку и молчала, стараясь отдышаться. Но в трубке тоже дышали, словно на том конце провода тоже двигали комод из гарнитура «Чародейка».

- Слушаю, – удивленно сказала Людмила.
  - Триста шестьдесят первая? – спросил торопливый женский голос.
  - Да, квартира триста шестьдесят первая.
  - Милочка, я не знаю вас, а вы не знаете меня. И не спрашивайте, откуда мне что известно. В вашу квартиру идет вор, рецидивист...
  - Уж не за «Чародейкой» ли? Ее одному не вынести. Ириха, перестань дурачиться!
  - Милочка, теряешь время, – чуть повелительно сказала женщина, и Людмила сразу поняла, что это не Ириха. – Он уже, возможно, поднимается по лестнице. Слушай внимательно. Этот опасный бандит прослышал про ваш достаток. Сначала будет подбирать отмычки, а потом взломает дверь.
  - Но я же дома, – усмехнулась Людмила.
  - Он знает, ему терять нечего.
  - Боже, что за чепуха. Да кто вы?
  - Друг. Не выходите на лестницу...
  - Я сейчас же звоню в милицию, чтобы вас задержали!
  - Вместо благодарности, – вздохнула незнакомка. Людмила хотела ей сказать, что это неумная шутка, – в наше время бандиты в квартиры не вламываются. Хотела сказать, что в этой дурацкой шутке не видит смысла. Хотела сказать, что какой же это бандит будет выбалтывать замышленное преступление, если только она не наводчица... Хотела сказать и не сказала, прижав трубку к груди, – от двери донесся слабый металлический звук, железо о железо...
- Людмила замерла, сразу лишившись сил. Но страх оказался сильнее: она швырнула трубку на аппарат, подскочила к порогу, открыла вторую дверь и набросила на первую крюк, который Максим ввинтил на всякий случай. И услышала, что уже пощелкивает замок – подобрал. Она стремительно захлопнула вторую дверь, попятившись от нее, как от наезжавшего бульдозера.
- Дверь вздрогнула и затряслась от рывков, которыми хотели ее высадить вместе с дверной коробкой. Людмила вскрикнула и отскочила дальше, к мерцавшему полировкой комоду. Она даже не удивилась, как смогла в секунду передвинуть комод и придавить им вибрирующие двери. Сил осталось дойти только до телефона, набрать 02 и крикнуть:
- Скорей! Скорей, выламывают дверь...

***Из рапорта участкового инспектора.** 26 марта сего года в 13 ч. 10 м. по указанию дежурного райотдела я прибыл по адресу: ул. Солнечная, д. 8, кв. 361. На лестничной площадке мною был обнаружен неизвестный гражданин, пытавшийся выломать дверь указанной квартиры и уже оторвавший ручку и почти всю обивку. Неизвестный гражданин оказался Иванцовым Максимом Николаевичем, проживающим в этой же квартире. Проверив обстоятельства происшествия и переговорив с его женой, которая на толос мужа добровольно открыла дверь, выяснил, что ей был телефонный звонок неизвестной женщины, которая, видимо, приняла спешившего мужа за вора. А гражданин Иванцов М. Н., в свою очередь, решил, по его словам, что вор закрылся в квартире, почему и начал ломать дверь. Таким образом, налицо ошибочная ситуация. Гражданин Иванцов М. Н. был трезв.*

***Из дневника следователя.** Правовые органы знают не обо всех преступлениях, потому что к ним не поступает информация. И одна из причин – некоторые тихие потерпевшие, которые меня злят сильнее, чем все неправды и несправедливости. Ведь не жалуются. Ведь не возмущаются! Когда у меня сидит такой тишайший и рассказывает, как его обидели на работе, дома или в автобусе, – спокойно, между прочим, как мимолетный эпизод, – я молча кричу ему: «Хоть теперь возмутись! Взорвись! Заплачь!» Эти люди не обижаются, или забывают обиды, или сразу их прощают... Парадокс: есть обиды и нет обиженных. Но ведь*

*бороться с чем-либо можно только возмущившись. Не возмущившийся несправедливостью и сам несправедлив. Если уж себя не отстаивает, что же говорить про помощь соседу... Да мимо пройдет!*

**Объявление на столбе.** Продается новая, неношенная каракулевая шуба по магазинной цене. Обращаться на Спортивную улицу, дом 3, кв. 7, от 18 до 19 часов.

Козлова посмотрела на ходики: прошло сорок пять минут указанного в объявлении времени, а была только одна покупательница, да и та баскетбольного роста, которой никакая бы шуба не подошла. Видимо, одного часа маловато, и придется переписать объявление: пусть ходят с шести до восьми вечера. В магазине такую шубу схватили бы сразу, хоть и цена солидная. Но меховые магазины расположены в центре, а к ней, на улицу Спортивную, ехать с тремя пересадками. Не каждый захочет.

Козлова вынесла шубу в переднюю и повесила у двери – входи и меряй. Тут и зеркало. Черные мелкие завитки пружинили под пальцами и казались живыми. Не разовьешь, завиты самой матушкой-природой. Говорят, на каракуль годятся только ягнята. И еще говорили, что на какие-то изделия – может и на каракуль, или вроде бы на замшу – идут только утробные барашки. Все-таки жалко продавать.

Звонок не то чтобы испугал, но сбросил руку с шубы, словно та была уже не ее.

Козлова открыла дверь. В переднюю вошла представительная дама в модном пальто и легком платке на голове. Это была настоящая покупательница, не баскетболистка. Такая, возможно, начнет торговаться, но уж обязательно купит.

– Здесь от восемнадцати до девятнадцати? – спросила она тем голосом, который кто зовет грудным, кто низким, а кто сытым.

– Да-да, проходите, – предложила Козлова, хотя проходить было некуда да и незачем: гостя уже стояла перед шубой, изучая ее взглядом. Хозяйка хотела было сказать, что продавать жалко, но покупательница тяжело и шумно вздохнула. И тогда Козлова сразу увидела большой живот, который вздыбил пальто и скособолил пуговицы натянутыми петлями.

– О, извините, – суетливо пробормотала Козлова и быстро сходила за стулом.

Покупательница с готовностью опустила на него, рассматривая шубу сидя, как картину в музее. Но как же мерить...

– Для сестры ищу, – ответила дама на мысль Козловой. – Просила сходить по объявлению. Сколько хотите?

– Тысячу сто, как и в магазине.

– Перепродают всегда со скидкой.

– Да ни разу не надевана. Вот и чек, – опять засуетилась хозяйка, извлекая из кармана шубы мятую бумажку.

Но покупательницу чек не интересовал – она смотрела на шубу.

– Если не секрет, почему продаете?

– Вступаем в кооператив, деньги нужны на трехкомнатную...

– Деньги всем нужны, – философски заметила гостя, поднялась и начала ощупывать рукав.

Она уютно жила завитки, погружаясь в них бордовыми пиками ногтей; взъерошивала шерсть, пропуская ее меж пальцев; гладила ладонью борт, как щеку ребенка. Видимо, разбиралась в мехах.

Внезапно покупательница отпустила шубу и схватилась за горло. Даже при неярком электрическом свете было заметно, как она побледнела. И тут же ее ноги словно переломились в коленях, и дама села, как упала, стукнув об пол каблуками сапожек.

– Вам плохо? – испугалась Козлова.

– Тошнит...

- Сейчас принесу водички, – уже на ходу бросила хозяйка.
- Кисленького бы...
- Лимон есть. Минутку!

Козлова ринулась на кухню. Налила стакан чаю, бросила туда кусочек сахара и отжала пол-лимона. Мешала уже на ходу – лишь бы не расплескать.

Покупательница выпила чай залпом и облегченно вздохнула:

- Извините, доставила вам хлопот...
- Что вы! В таком положении со всеми бывает.

Дама медленно поднялась. Видимо, силы к ней еще не вернулись. Она поправила платок, заполняя переднюю запахом каких-то духов, и сказала вялым голосом:

– Считайте, что шубу я купила, завтра в это же время... Приведу сестру. До завтра с деньгами потерпите?

– Конечно, – заверила Козлова, непроизвольно пытаясь поддержать ее под руку.

– Дойду, – улыбнулась покупательница и вышла на лестничную площадку, ступая тяжело и размеренно, как металлический робот.

Козлова закрыла дверь. Она дала бы этой женщине лет сорок. Поздновато для первого ребенка. Почему первого? Ведь не расспрашивала. И все-таки Козлова была убеждена, что детей у этой вальяжной покупательницы нет. Да и сестру, видимо, придумала. Хочет купить себе, не мерявши, чтобы надеть после родов. Вот и пришла взглянуть да прикинуть. Этой даме только меха и носить.

Козлова сняла шубу вместе с плечиками и понесла в комнату. Мех шершаво мазнул по кисти, и она почувствовала какую-то тревогу, невесть с чем связанную. Пока вешала шубу в шкаф, мозг сам по себе успел секундно перебрать жизнь прошлой недели, а может быть, и месяца. Но там ничего тревожного не было. Тогда она еще раз, уже нарочно, провела ладонью по меху, а потом кистью, где кожа была нежней: мягкие завитки. Конечно, мягкие, – не могли же они стать жестче от взгляда этой дамы...

Козлова сдернула шубу с вешалки, подбежала к выключателю и зажгла люстру, потом бросилась к торшеру и уж затем к настольной лампе. На это обилие светильников мех отозвался едва уловимым синтетическим блеском. Козлова почему-то испугалась. Она смотрела на мех, как смотрят на пятна человеческой крови или перевернутый автомобиль...

Шуба была не ее.

*Из дневника следователя. Говорят, что пришла весна. Где-то припекает солнце. Где-то зацветают сады. Уже не где-то, а у нас под городом вылезла травка. Невесть откуда взявшиеся птицы устраивают по утрам на балконе радостный гомон. Вчера Лида принесла подснежники, купила у метро: вялые цветики, какие-то испуганные городом и шумом. Весна все-таки пришла.*

*И я ее ощутил – правой ногой: прохудившийся ботинок сильно пропускает талую воду. Лида дважды доставала из шкафа новые ботинки, но я их вроде бы забываю надеть. Якобы. Ухожу в старых. Сразу и сам не мог понять, почему так делаю. А вот почему: когда прихожу домой, снимаю ботинок и вешаю мокрый носок на паровую батарею (Лида его тут же хватает и несет стирать), то мне кажется, что я пришел из леса, снял сапоги и повесил на печку мокрые портянки... Я, заточенный цивилизацией в каменный мешок города, подсознательно держу связь с природой через этот самый худой ботинок – хоть так.*

*Я вырос среди лесов. Молодость провел в степях. Теперь у меня квартира, автобус, улица, кабинет... А человек утром должен выходить в поле, в степь, в лес... К солнцу, к травам, к птицам, к ветру. Мир ему должен открываться утром, и весь, целиком, до горизонта. Все остальное – противоестественно.*

*Лида грозитя спустить ботинки в мусоропровод.*

Еще вчера Рябинин думал о весне. Она словно притаилась в том маленьком парке, который он пересекал дважды в день, и ждала какого-то особого сигнала, одной ей известного. Еще вчера там из голой земли торчали голые прутья, как пучки обрезанной проволоки. Мокрые березы сочились водой, на сжавшихся почках висели крупные капли, готовые упасть от громкого слова. Да еще вчера Рябинин с любопытством глядел на купленные подснежники наступила-таки весна!

А сегодня утром он вошел в парк и приостановился. Не было проволочных прутьев и сочившихся берез, не было мокрой земли и жижицы луж... Вместо парка расцвел белый сад. Чистый и холодный воздух прочертили пушистые линии бывших прутьев. Засахаренные ветки повисли пышными букетами. Там, где стояла ель, теперь высилась чудо-пирамида из белоснежных лап. Толстая осина замерла белотелой царицей. Липа – кажется, липа – стала алюминиевой пальмой. А вместо луж там и сям сверкали фольговые озерца, игравшие солнечными зайчиками с синим небом.

И Рябинину захотелось сделать то, что иногда хочется сделать в старинном соборе, роскошном музее или полированной квартире: обувь, что ли, снять или поклониться.

Он шел медленно, рискуя опоздать к допросу. Нужно позвонить Лиде, чтобы после работы заскочила в этот парк. Но ведь после работы иней растает и деревья опять осклизнут и почернеют.

Он допрашивал, говорил с людьми, писал бумаги, звонил по телефону, и ему все казалось, что сегодня он где-то был еще, кроме работы: в кино, в театре или в музее. Но он нигде не был, кроме парка, схваченного веселым весенним морозцем.

После обеда в кабинет не спеша, с незажженной сигаретой, вошел прокурор, показывая ей, что забрел просто так, покурить. Но у прокурора, даже забредшего покурить, всегда наготове прокурорский вопрос:

– Сергей Георгиевич, как поживает матерьяльчик о мошеннице?

– Почти всех опросил, но поступило новое заявление о краже каракулевой шубы. Нужно возбуждать уголовное дело и производить опознание.

– Сначала опросите заявительницу.

Прокурор зажег сигарету и сел перед столом на место для вызванных. Теперь он мог поговорить о том, о сем. Рябинина это слегка раздражало соблюдать какие-то ранги, когда по-товарищески заходишь к подчиненному. Сейчас мошенница его не интересовала: ведь не спросил ни про состав преступления, ни про доказательства.

– Вы по делу? – нелюбезно поинтересовался Рябинин.

– Да нет, на перекур, – ответил Беспалов так добродушно, что Рябинин пожалел о своем нарочитом вопросе: трудно представить, чтобы предыдущий прокурор района зашел бы к следователю покурить.

Юрий Артемьевич дымил молча, как бы подтверждая, что зашел ради перекура. Он следил за своим дымом, который завесой плыл на следователя. Когда эта завеса коснулась лица и Рябинин поморщился, Беспалов спросил, словно только что вспомнил:

– Сергей Георгиевич, вы как-то обронили о поисках смысла жизни...

Рябинин молчал, уткнувшись в попавшуюся бумажку, которых на столе было как листьев под осенним деревом.

Верно, он обронил, но потому говорить и не стоило, что лишь обронил. Мало ли чего мы роняем? Не стоило говорить и потому, что Рябинин еще плохо знал прокурора, – тот работал всего год. Вернее, он его знал, но не настолько, чтобы говорить о смысле жизни. От любопытства ли спрашивал, серьезно ли интересовался, или сам неразрешимо носил в себе этот смысл?.. А может, ради красного словечка, припася его для совещания районных прокуроров: товарищи, представляете каково мне работать, если мои следователи ищут смысл жизни...

- А вы разве не ищете? – как можно наивнее спросил Рябинин.
- Не знаю, – не удивился Беспалов вопросу.
- Как не знаете?
- Ведь не думаешь: поищу-ка я до обеда смысл в своей жизни.
- Верно, – согласился Рябинин, отпускаяемый всеми подозрениями.
- И почему русский человек любит самые загогулистые думы? – медленно сказал прокурор вроде бы самому себе.
- Без этих дум человек гибнет, Юрий Артемьевич.
- Человек гибнет без хлеба, – усмехнулся Беспалов.
- Без хлеба гибнет тело.
- А пищи для души теперь хватает. Средства массовой информации любую душу ублажат.

Сигарета потухла. Рябинин хотел сказать, что она потухла, но прокурорские слова об информации и душе странно задели его какой-то несочетаемостью. Он всегда удивлялся...

Рябинин всегда удивлялся мыслям, мелькавшим вроде бы не в мозгу, а где-то глубже, когда думалось уже не словами, а какими-то блоками, в которых слились и те же слова, и целые образы, и четкие догадки, и еще что-то неясное, но очень верное; все это успевало в мгновение соединиться, поменяться местами и рассыпаться, и все-таки оставить в сознании мысль иногда ясновидящую, чаще неправильную – или оставить смутное ощущение, которое зачастую дороже мысли. Или ничего не оставить, прожив миг и для мига. Вот и теперь промелькнуло, исчезая...

*...Информация и душа. Как деньги и любовь. Почему? Душе плевать на информацию. Информация для ума. Что же для души?..*

Промелькнуло. Но осталась другая мысль, вызревшая на страницах его дневника:

– Человек, живущий без смысла, должен бы сразу умереть. Не от старости, не от болезни, не в автомобильной катастрофе, не в самоубийстве... Должен просто умереть, тихо и безболезненно, как отмереть.

– От чего умереть-то?

– От бессмысленности своего существования.

– Тогда знаете сколько бы людей отмерло? – опять усмехнулся прокурор, и опять усмехнулся к месту, потому что Рябинин ничего не мог передать сверх мысли, сухой, как пруттик. А в дневнике ведь было убедительно.

– Но жизнь без смысла – для чего она?

– Сергей Георгиевич, – оживился вдруг Беспалов, заметил погасшую сигарету и зажег ее. – Вы детство помните?

– Угу, – буркнул Рябинин, еще не зная, куда повернет прокурор.

– Думаю, в детстве вы и не подозревали о смысле жизни. Ели мороженое, бегали в кино, читали книжки... Чудесное время! Хоть и бессмысленное. А?

– Нет, осмысленное. Каждый ребенок знает смысл своей жизни и думает о нем чаще, чем принято считать.

– Какой же?

– Стать взрослым.

Прокурор схватил подбородок и затеребил его, уставившись на следователя отрешенным взглядом. Бедная сигарета опять тухла, тесемочка дыма тоньшала на глазах. Бедная сигарета не догадывалась, что гореть ей не обязательно и ее чахлый дымок лишь повод, без которого прокурор стеснялся зайти к подчиненному. Зашел покурить – каждому понятно. А зашел поговорить... О чем? Уж не ищет ли смысл жизни? Уж не тот ли самый, который искали старомодные литературные герои, а теперь его искать так же смешно, как ездить в карете?

– Юрий Артемьевич, да неужели вы оправдываете животное существование? – удивился Рябинин.

– Не оправдываю, а размышляю об этом вместе с вами, – ответил прокурор.

*Из дневника следователя. А может быть, Юрий Артемьевич и прав? Может, весь смысл жизни остался там, в детстве?*

*Бывало, выскочишь из дому, на траву, на воду, на ветер, на простор... Божже, какая свобода – сейчас взмахнешь руками и полетишь. Нет ни мыслей, ни забот. Ничего о жизни не знаешь и знать не хочешь. Ничего не понимаешь, но все чувствуешь – телом, каждой клеткой. Живешь, да так живешь, как больше никогда жить не будешь. Как жеребенок или как воробей. Как уготовила нам природа. Естественно. Вот-вот, естественно! Ведь так живут дети, животные, птицы. Так живут травы, деревья, цветы... Может, настоящая жизнь – это жизнь естественная?*

*Не потому ли...*

*Берем рюкзаки, уходим в лес и в горы. Отправляемся плавать на кораблях, лодках, плотах... Любим зверей. Смотрим на парящих птиц, набирая в грудь воздух и неосознанно шевеля лопатками. И грустим, вспоминая детство, грустим самой сильной грустью.*

*Не потому ли, что тоскуем об истинной и утерянной жизни – естественной?*

В еще не подсохшем скверике, который люди обходили панелями, сидела женщина и бессмысленно переключала старомодную сумочку с колена на колено. На вид ей казалось за пятьдесят, но, присмотревшись, можно было остановиться на сорока с небольшим. От ее лица, от фигуры, старавшейся выглядеть незаметнее, шла почти ощутимая усталость. Женщина кого-то ждала, и тот, кого она ждала, был для нее очень важен, – сумочка выдавала напряжение.

Иногда сквер пересекали прохожие. Мужчина в резиновых сапогах, с рюкзаком и собакой. Ребята пробежали, норовя обрызгать друг друга. Мама проехала с коляской... Но женщина ждала не их, посматривая на вход, зажатый меж трансформаторной будкой и старым тополем.

Она сидела уже около часа, терпеливо двигая сумочку. И когда в сквер вошла дама в белом пальто и безмерной бордовой шляпе, женщина надела сумочку на кисть руки, как на крюк, встала, поправила платок и пошла наперерез даме. Та двигалась медленно, минуя лужи, словно переплывая их под бордовым парусом. Женщина приблизилась к ней и как-то засеменила, не зная, с какой стороны лучше подойти. Да и лужи мешали.

У детской песочницы, где посуше, женщина перебрала сумочку из руки в руку, забежала чуть вперед и голосом, каким в магазинах старушки просят «доченок» взвесить нежирной колбасы, заговорила:

– Аделаида Сергеевна, Сидоркина я... Вчера по телефону к вам обращалась. Вы сказали, что пойдете сквером. Вот и дождалась, слава богу...

– В чем дело? – без интереса спросила дама, не сбавляя шага.

– Старшая дочка замуж выходит. Сами понимаете, хочется по-человечески. Подарок бы какой поднести... Родители жениха холодильник справили, просторный, с лампочкой внутри...

– Ну и что? – перебила дама.

– Аделаида Сергеевна, моя Верка-то, невеста, второй год мечтает об этой... из гарнитура «Руслан и Людмила»... Красный диван без спинки и без валиков...

– Тахта, что ли?

– Ага, тахта. Вот подарить бы на свадьбу...

– Дарите.



– Так не продают отдельно! Бери весь гарнитур, да и тот по записи. Оно и верно, натуральные Руслан с Людмилой, а не гарнитур.

– От меня-то что нужно?

Аделаида Сергеевна остановилась. Сквер кончился, дальше толпой струилась улица, а предстоящий разговор больше годился для тихого места.

– Тахту бы мне красную приобрести...

– Берите весь гарнитур.

– Так ведь денег-то где взять? Не по карману. Семья большая, а мой петушок...

– Какой петушок?

– Ну, муженек... Он льет в горло, как из бидона.

Аделаида Сергеевна окинула женщину прицельным взглядом. Синее, незаметное пальто – такие продаются в магазине уцененных товаров. Свальявшийся платок. Ношенные сапожки, видимо, с чужой ноги, скорее всего, с Веркиной. Сумочка, видимо, тоже дочкина.

– Перед женихом-то без приданого стыдно. – Женщина поежилась от стыда ли перед женихом, от ее ли взгляда...

– Сколько у вас детей?

– Трое малолетних да Верка.

– Что ж ты, милочка, не можешь подарить дочке на свадьбу тахту, а устраиваешь демографический взрыв, а?

– Как? – переспросила Сидоркина, не поняв, какие взрывы она устраивает.

– К чему, говоря, голь-шмоль разводишь?

Теперь Сидоркина поняла. Ее широкий нос дрогнул, словно она хотела фыркнуть, и эта дрожь побежала куда-то к сухим скулам и бледным губам. Она поняла. Сказали бы ей про голь-шмоль в магазине или на рынке... Но тут она была просительницей.

– Хочется подарить на свадьбу ейную мечту...

– Милочка, насчет ейной мечты обращайся в магазин.

Сидоркина молча опустила руку, и ее сумка коснулась мокрой земли. И стало заметнее, что сумка чужая и ходить с ней она не привыкла...

– Мне говорили, что вы все можете...

Аделаида Сергеевна расстегнула пальто, обдав просительницу крепким запахом духов, поправила воротничок платья и спросила:

– Кто говорил?

– Люди.

Теперь Сидоркина могла уйти, но она медлила, следя за пальцами Аделаиды Сергеевны, меж которых струился шарфик из мягкой ткани, похожей на мех. Этот шарфик был длинным, видимо, до колен, и струился бесконечным ручейком.

– Сколько стоит тахта?

– Она же отдельно не продается. Я вот приготовила...

– Сколько?

Сидоркина метнулась рукой в карман, но, вспомнив про сумку, нашарила там приготовленную сумму.

– Сто пятьдесят. Весь гарнитур стоит шестьсот сорок.

Аделаида Сергеевна взяла деньги, опустила их в широкий карман своего пальто и томно сказала:

– Что я вам – депутат? Позвоните завтра...

Директор специализированного мебельного магазина «Дуб» отвинтил крышку термоса, налил в нее кофе и выпил залпом, обжигаясь.

Таких крышечек – по семьдесят пять граммов – в термосе содержалось ровно шесть. Теперь осталось пять. Он их выпьет через равные отрезки времени, чтобы хватило на весь день. Кофе успокаивал.

Директор придвинул было учебник чешского языка, но в дверь негромко и уверенно постучали. Он не успел ничего ответить, как увидел перед собой бордовую шляпу, белое элегантное пальто и лицо женщины с такими же яркими губами, как и шляпа.

– Гражданка, по всем вопросам обращайтесь...

– Я не по всем вопросам, – перебила она, степенно опустилась в маленькое кресло перед столом и добавила, улынувшись: – По вопросам, но не по всем.

– Вы откуда? – мягче спросил он.

– Из самой авторитетной организации – из народа.

– Ясно, – буркнул директор. – И что вам нужно?

Она достала из пальто зажигалку, пачку импортных сигарет и не спеша закурила, пустив дым в телефонный аппарат. Директор ждал, успев отметить, что у нее нет дамской сумочки, столь любимой женщинами.

– Товарищ директор, не считаете ли вы, что насаждаете мещанство, торгуя полированными гарнитурами?

– Вы из газеты?

– Например, зачем молодому человеку гарнитур «Руслан и Людмила»?

– Вы социолог?

– Мне нужна тахта.

– Какая тахта?

– Из гарнитура «Руслан и Людмила».

Директор глянул на термос – ему захотелось глотнуть внеочередной стаканчик. Эта дама не представляла никакой организации, кроме самой себя, но сама она – директор видел – могла вполне заменить могучую организацию. Ему предстояла поездка в трест к управляющему, предстояла встреча с чешскими мебельщиками и еще куча дел в самом магазине, который простер свои стеклянные витрины на весь квартал. Поэтому директор хотел расстаться с ней, как можно меньше затратив своих нервных клеток.

– Разве вы не знаете правил торговли? – вежливо спросил он.

– Я не точно выразилась: тахта нужна не мне, а молодоженам. Я, так сказать, делегирована свадебным коллективом.

– Гарнитуры «Руслан и Людмила» продаются в порядке списочной очереди.

– Жених приехал с крупной дальневосточной стройки, передовик, член сборной, награжден медалью «За спасение утопающего».

– Я не могу нарушать порядок.

– Невеста работает на фабрике. Наткала столько штапеля, что его хватит протянуть до Луны и обратно. Неужели они не заслужили красивой тахты?

– Гарнитуры мы не дробим.

– Кроме того... Между нами, конечно... Невеста беременна.

– Гражданка, – уже тихо, чтобы не повышать голос, сказал директор, – я говорю, а вы меня не понимаете: на эти гарнитуры очередь, и мы их не дробим.

– Я вам не сказала главного... Жених забирает невесту, а вернее, уже муж забирает жену и уезжает на свою крупную дальневосточную стройку. Им некогда стоять в очереди. Неужели наш город не может сделать молодоженам за их деньги скромный подарок?

Директор понял: оттого, что он не повышает голос, не возмущается и не спорит, его нервным клеткам не легче. Может быть, даже и тяжелее. В то же время он был уверен, что дама в белом пальто и бордовой шляпе за эти пятнадцать минут не потеряла ни одной нервной клетки.

– Меня зовут Аделаида Сергеевна, – вдруг представилась она и сделала движение, которое означало, что она хочет снять пальто.

– Хорошо! – Директор схватил термос. – В порядке исключения берите гарнитур без очереди.

– Но мне тахта...

– Не дробим! – крикнул он так сильно, что крышка термоса по-хрустальному дзинькнула. – Шестьсот рублей в кассу.

– Бог с вами, – обиделась Аделаида Сергеевна, вставая. – Но хочу дать вам совет: начните курить. Удобнее взять сигарету, чем цедить кофе в крышечку...

*Из дневника следователя. Можно работе отдать все: ум, способности, силы, годы... Потом эту работу вспоминать с удовольствием, как честно деланную. Но если от нее не защемит в груди – это была не твоя работа, потому что твоя работа та, которой ты отдаешь сердце.*

*Так вот оно у меня щемит, лишь стоит представить себя без следственной работы. Как не вспомнить Юрия Артемьевича...*

Отгудевший пылесос стоял посреди комнаты, остывая теплыми боками. Чуть влажная тряпка уже объездила все доступные поверхности и теперь легла на последнюю – на блестящий кусок стола величиной с газету. Навалы и завалы ползли на эту уцелевшую плоскость, как бурелом. Лида бросила тряпку и взялась за бумаги с тихой и ожидаемой радостью...

Она любила разбирать его стол. В этих стопках, пачках и охапках пряталась тайна мужской работы. Да нет, не пряталась – Сергей от нее вздоха не скрывал. В этом навале была вся его жизнь. Что она болтает? Какая «вся жизнь»? Разумеется, он любит свою работу, но «вся жизнь»... О, вся жизнь, вся жизнь... Вся квартира, вся одежда, вся зарплата... В конце концов, вся земля, потому что ее, матушку, измерили вдоль и поперек. Ну а чем измерить жизнь? Всю. Работой?

Лида оттолкнулась от стола и легким бегущим шагом скользнула в переднюю – на свидание с собой.

В большом зеркале, обрамленном старинной рамой с инкрустацией, взметнулся ворох прически. Узкое лицо с вечно яркими губами, словно она их ежеминутно подкрашивала. А волосы светлые, но с медным отливом, вернее с морковным, нет, с апельсиновым – далекий свет неяркого апельсина. Скулы видны, нежные скулки. А волосы стянуты зеленой лентой; ведь никого нет, а лента зеленая, так идущая к далекому отсвету неяркого апельсина. Шея, как у статуэточной Нефертити. А волосы, туго стянутые лентой, все-таки привстали, будто задымились. Грудь... Нельзя о себе так сладко думать.

Боже, вся жизнь! А любовь? Да разве жизнь начинается не с любви? Да разве жизнь кончается не любовью? Ведь если не любить, то что остается работать? Конечно, Сергей обо- жает свою уголовщину, но там любовь иная, простенькая, и существует она для другой любви, необычайной и возвышенной, их любви. И она ведь любит свою минералогию, но тоже для их любви.

Лида отпрянула от зеркала, удивленная тайной связью минералогии с любовью к Сергею. Да нет же, она бы работала и без Сергея. И он работал бы без нее. Работать друг без друга они смогли бы. А вот жить...

Она вернулась к столу и зашелестела бумагами. Иногда ее руки утихали, наткнувшись на что-нибудь интересное. Если бы Сергей разрешил, она бы навела здесь ту чистоту, которая лежала на всей квартире. Но он дрожал за каждую бумажку, за каждое начертанное слово. Вот что это?..

Серый клочок, сложенный вчетверо, потертый на сгибах. Видимо, месяц носил в кармане. А ведь есть записная книжка. Его и не разлепить. Написано второпях. «Вывезенный на место происшествия, обвиняемый вспомнит подробностей больше, чем во время допроса». Правильно, в магазине всегда купишь больше, чем намереваешься.

Фотография какого-то прибора. Длинный металлический кольшечек, мягкий шланг, цилиндр со шкалой. Немного похож на геофизический эманометр. На обратной стороне написано, как он называется. Боже, трупоиискатель...

Видимо, письмо. Вот и конверт. «Следователь Рябинин! Протоколы без ошибок, статейка мне пришита, и сам я жмущусь в дружном коллективе на свежем воздухе. Только и следователи фуфло выдают. На шмоне в моей хате в чайничек-то не заглянули, поэтому тыщонка хрустиков моя. Выйду – мне на душевный кайф. С приветом граф О. де Колон». Дурак, а не граф. Ничему не научился. Хрустики – это деньги. А Сережа-то мог проворонить. В чайник не заглянул... Да ему на кухне обеда не найти. Как он проводит эти обыски?..

Карточка вроде библиографической. «Чтобы узнать истину, надо выдумать миллион заблуждений. Оскар Уайльд». Интересно, какие же ты, Сережа, выдумал заблуждения?

«Следственная практика», а на полях записан какой-то разговор: «– У него есть подлинные картины художников-классиков. – Откуда же? – От деда остались. – И много? – Много. Он музей обокрал». Наверное, из протокола допроса. Глупый, все записывает. Его дневник, о, его священный дневник. Не спрятан и не скрыт. Пожалуй, Сереже нравилось, когда она заглядывала сюда, в эти запретные страницы, исписанные крупным почерком с разномерными буквами. Но зачем они, эти тайные страницы? Ведь известно, что заводят их от одиночества. Неужели ему легче довериться чистой бумаге, чем ей? Его священный дневник. Она бы выбросила эту толстую, уже не первую тетрадку, сожгла бы, изодрала и располосовала...

Ей показалось, что горячая волна плеснула в лицо раньше, чем глаза увидели чистый лист с крупными буквами: «Лидок, клади все на старые места. В этом беспорядке есть свой порядок». Как подсмотрел. Она даже испугалась. Дурачина. Пусть сям убирает. Вот только уложит эту пачку, из которой торчит синий клочок...

Лист был разорван по написанному – разномерные фиолетовые буквы на синей бумаге. Лида прочла то, что осталось: «...в беде, или любить издалека». Она бы смахнула этот обрывок в мусор. Нет, она бы положила его в стопку таких же растерзанных бумаг. Но его рука написала «любить», его рука написала такие слова, которые, оторвавшись от других слов, имели какой-то скрытый и притягательный смысл.

Лида принялась искать начало. Выбросить он не мог. Бумага заметная, яркая...

Она синела под кастетом. Лида высвободила ее, приложив к своей. Оборванные края сомкнулись, и сомкнулись в единую мысль слова: «С любимой женщиной надо или сидеть в окопах, или встречаться изредка. Или быть в беде, или любить издалека». Да?

Лида удивленно смотрела на синюю бумагу. Его рука, его слова, его стиль... Но мысль не его. Чужие это рассуждения, подслушанные. Может быть, вычитанные. У того же Оскара Уайльда. «...Или быть в беде, или любить издалека». Или в этих, в окопах. Конечно, Уайльд. А были при Уайльде окопы-то?.. Да? Но у них нет беды. Они не сидят в окопах. Что ж им встречаться изредка? Любить издалека? Да? Она ему сейчас позвонит. Нет, она посмотрит дневник...

Тонкие руки метнулись к пухлой тетради, похожей на амбарную книгу. Записи, записи... Без дат, без названий. Самая последняя: «Так вот оно у меня щемит, лишь стоит представить себя без следственной работы». Кто, что щемит? Лида глянула выше. «Но если от нее не щемит в груди – это была не твоя работа, потому что твоя работа та, которой ты отдаешь сердце». Да?

Вот как... У него щемит сердце, стоит ему представить себя без следственной работы. А ее... А разве сердце не щемит, стоит ему представить ее, Лиду? А представить Ирину?

Она залистала дневник так стремительно, словно хотела вырвать страницы и взвить их под потолок. Она неслась по записям, не вникая ни в смысл, ни в почерк, – искала слова «любовь», «Иринка», «Лида»... Они должны быть, стоит лишь всмотреться в эти абзацы про следствие, про психологию, про уголовников. Но ее глаза, снедаемые каким-то торопливым жаром, который ошалело горел в ней, не могли задержаться на строчках...

Что-то мелькнуло. «...Годы супружества». Она бросила взгляд к началу страницы. «Допрос шел три часа...» Нет, пониже. Вот. «С какого-то дня супруги перестают быть друг для друга загадкой, и тогда начинаются пустые годы супружества, подобные езде порожних вагонов. Холостые годы супружества».

Торопливый жар вдруг опал, как скатился на паркет. Какая-то влажная слабость полилась с закатного неба в форточку, обволакивая ее тело и обессиливая. И ничего не осталось – ни рук, ни ног, ни гулко стучавшего сердца. Только сознание, понимающее, что ничего не осталось.

С какого-то дня... С какого же, Сережа? Супруги перестают быть друг для друга загадкой... Он ее разгадал. Неужели ее так просто разгадать? Ну, разгадал. А разгаданных разве не любят? Это грех – быть разгаданным? Холостые годы супружества...

Ноги не стояли. Лида поняла, что сейчас упадет, если не доберется до кресла. Она села, медленно и бесшумно. Зеленая лента, по-собачьи уловив состояние хозяйки, безвольно развязалась и выпустила волосы на свободу, утопив в них ее грудь и покатые плечи. Холостые годы супружества...

Счастье смотрит вперед – там его просторы. Беда оглядывается на прошлое – откуда она пришла? Боже, из этих, из последних лет. Нужно быть слепой и глухой... Нужно занавесить глаза вот этими волосами, чтобы ничего не видеть.

Хотя бы цветы. Раньше он их приносил даже зимой. Букеты из ели, из березовых прутьев, из сухого бессмертника... Но вот началась весна. И ни стебелечка. Подснежники сама поупала.

Раньше он не давал ей самой снять сапожек, тувель не давал скинуть сам хотел, бросался в ноги, как поклоны отбивал. Теперь она может сидеть в передней и пыхтеть с сапогом хоть час.

У нее есть привычка вскрикивать: уронит ли что, сожжет ли, соль ли рассыплет, палец ли уколется... Раньше он бежал на кухню, опрокидывая стулья.

Раньше – первый год, второй год их жизни, может быть, и третий год, и четвертый – он ничего не мог делать. Ходил за ней и целовался. Боже, сколько они могли тогда целоваться... Раньше. До холостых лет супружества.

Лида прикусила зеленую ленту, так идущую к ее волосам, и заплакала.

*Из дневника следователя. Вчера мне неожиданно позвонил бывший начальник геологической партии, у которого я когда-то работал коллектором, – ему потребовалась юридическая справка. А потом он сказал «два слова о себе». Доктор наук, начальник отдела... Написал две монографии. Сделал геологическую карту Союза. Сейчас занимается металлогенической проблемой, пишет статьи, доклады, учит аспирантов, курирует районы... И еще что-то, и еще где-то...*

– А зачем? – вдруг спросил я.

– Не понял.

– Для чего? – изменил я вопрос.

– Опять не понял.

– Ну, почему?

Он положил трубку. Мы и раньше так говорили. Только в те времена он не клал трубку, а приказывал мне тереть пробы или разбирать образцы.

Козлова никогда не думала, что обман с шубой может что-нибудь вызвать, кроме чувства утраты дорогостоящей вещи. Но было и другое – сильная обида: может, оттого, что она видела мошенницу, говорила с ней, сочувствовала и пила чаем. Лучше бы украла тайно, из-под замка. Кража анонимна, поэтому ее легче перенести. Мошенничество для потерпевшего обиднее, – тут его унижают.

Козлова сразу заявила в милицию. Через два дня ее вызвали, побеседовали и сказали, что пропажу найдут. «Шуба не деньги – о себе скажет». И отвезли на мотоцикле с коляской в прокуратуру.

Там ее долго допрашивал следователь с вздыбленными пятерней волосами, в больших очках, за которыми были тихие и задумчивые глаза. Он не сказал, что найдут шубу. Только в конце допроса спросил, узнает ли она эту даму, и Козлова поняла, что мошенница для него важнее, чем ее шуба.

Узнает ли? Да она уже видела ее во сне: воровка так же сидела в передней на стуле, в том же белом платке, и пила чай стакан за стаканом. Козлова бегала на кухню, резала какой-то огромный и странный лимон, темп все учащался, покупательница пила все стремительнее... Козлова хотела ей сказать, что ее обманывает, кладет не лимон, а грейпфрут, но вдруг увидела, как у дамы от чая бухнет живот, страшно поднимаясь на глазах... Козлова закричала и проснулась.

Она ли эту даму не узнает?

Синтетическая шуба осталась висеть в передней, вроде чужеродного тела. Перевесить в шкаф руки не поднимались. И не ее эта вещь, чужая. Следователь просил занести ее завтра в прокуратуру, как вещественное доказательство.

В передней коротко позвонили, так коротко, что Козлова раздумывала, открывать ли. Могли баловаться мальчишки. Но звонок повторился, теперь чуть настойчивее.

Она открыла дверь. На лестничной площадке стояла крупная женщина в сером невзрачном платке и затрапезном пальто. В руке она держала узел. Таких женщин Козлова иногда встречала на вокзалах да видела в военных фильмах.

– Милочка, я к вам.

Жар бросился Козловой в голову, как ударил палкой. Или испуг ударил, который бросился в голову вместе с жаром: закричать ли, звонить ли в милицию, дверь ли захлопнуть?..

– Дайте же мне войти.

Под напором того узла, которым пришедшая деликатно давила, как животом, Козлова немо сделала два шага назад.

Дама, теперь просто женщина, уже стояла в передней. Она опустила узел на стул, торопливо его развязала и броском подняла руку, на которой повисла черная каракулевая шуба.

– Ваша, – сказала женщина, таким же броском руки повесила ее на вешалку, схватила свою, искусственную, и ловко завязала в узел.

– Я сейчас вызову милицию, – опомнилась Козлова.

Женщина оставила узел и сложила руки на груди, как для молитвы:

– Милочка, вы тоже женщина! Вы мать, и я мать! Ну ошиблась, оступилась, леший попутал... Но ведь опомнилась, сама пришла и шубу вернула. Повинную голову меч не сечет. Милочка, простите меня!

Козлова смотрела на молитвенно сложенные руки, на грязно-зеленый шарф, перекрученный на шее, как белье на ветру; смотрела на пальто, какое-то щипаное, словно его начали лицевать, да передумали; смотрела на бурки, всунутые в калоши, которые теперь уже не носили.

– Да-да, – вздохнула женщина, – я уже дико поплатилась.

– Лично я прощаю, – вяло ответила Козлова.

– Милочка, скажите в прокуратуре, что с шубой вам почудилось...

– Нет, – твердо перебила хозяйка, – врать не стану.

- Да вам за это ничего не будет. Мол, ошиблась.
- Не могу.
- Милочка, хотите я встану да колени?

Она сделала движение вперед, словно споткнулась и сейчас упадет. Козлова непроизвольно схватила ее за локоть, подумав, что в тот раз тоже поддерживала под руку.

– Вставайте, не вставайте, а врать в следственных органах не собираюсь, – почти зло отрезала Козлова.

Гостя отпрянула. Она вдруг сильно – опять, как в тот раз, – побледнела и опустила руку в карман своего потрепанного пальто. Козлова попятилась в сторону кухни, ожидая увидеть нож или пистолет. Но женщина вытащила маленькую бутылку. Значит, плеснет кислотой – Козлова читала про такую месть. И услышала тихий, какой-то чревоушательный голос, который мурашками прокатился по ее спине.

- Тогда я сейчас отравлюсь.

Козлова закрыла глаза. Заметив испуг хозяйки, женщина положила бутылочку обратно и уже другим голосом, который задрожал от подбежавших слез, спросила:

– Разве я переживу позор? Сидеть в тюрьме! Неужели ты хочешь, чтобы меня посадили? Неужели ты такая бессердечная?

- Нет, – искренне сказала Козлова.

– Тогда пожалей! Откажись от показаний, и я тебя век буду помнить. Молиться за тебя буду. Копейки ни у кого не возьму...

- Хорошо, – устало согласилась хозяйка.

- Но знай: если не откажешься, я отравлюсь у тебя на глазах.

*Из дневника следователя. Часто слышу, что жил человек, жил, да и совершил преступление. Вдруг. Как несчастье, как болезнь. А уж если несчастье, то оно, считай, от судьбы, от бога – его не предусмотреть, с ним не поборешься. И несчастных жалеют, больным сочувствуют, но только не наказывают.*

*Я не сомневаюсь, что любое преступление зреет долго и нелегко, даже самое маленькое. Постепенно накапливаются в человеке преступления, поступочки, проступочки... С каждым таким поступком все грубее топчется мораль. И вот наступает грань, когда отвергается та моральная норма, которая возведена уже в закон, – совершается преступление.*

За дверью легонько стукнуло и зашуршало, словно там мели пол. Или кто-то остановился у кабинета, рассматривая табличку «Следователь С. Г. Рябинин» и собираясь постучать. Но дверь приоткрылась без стука. Он увидел-таки кусок серой швабры, который мелькнул в проеме слишком высоко от пола. Рябинин ждал, к чему-то приготовившись...

Дверь медленно, почти вежливо открылась. Первым вошел худой высокий мужчина с выгоревшей тонкой бородкой, которая, видимо, и мелькнула в дверном проеме. За ним неуклюже шагал приземистый загорелый человек, умудряясь втискиваться в пустое пространство. Они подошли к столу и молча расстегнули плащи. Высокий протянул руку:

- Прокурор Гостинчиков из Прокуратуры РСФСР.

Приземистый поставил на пол громадный портфель, сел на стул и буркнул:

- Следователь по особо важным делам Семенов.

Прокурор снял мягкую кремовую шляпу и тоже опустился на стул. Следователь остался в берете.

– Сергей Георгиевич, – начал прокурор, – нами получен сигнал, что вы совершили преступление...

- Какое? – удивился Рябинин.

– А мы сейчас это выясним. Приступайте к допросу, – приказал Гостинщиков следователю.

Тот откашлялся и все-таки хрипло спросил:

– Фамилия, имя, отчество?

– Рябинин Сергей Георгиевич.

– Место рождения?

– Новгород.

– Семейное положение?

– Женат.

– Место работы?

– Вы же знаете...

– Отвечать! – тонким голосом крикнул Гостинщиков, задрожав палевой бородкой.

– Следователь прокуратуры Зареченского района.

– Национальность?

– Русский.

– Образование?

– Высшее, юридическое.

– Судимы?

– Нет.

Семенов лег грудью на стол, припечатав все бумаги, и, стараясь придать своему просто-душному лицу особую хитрость, спросил:

– Чем вы занимались одиннадцать лет назад?

– Как чем?.. Работал техником в геологической экспедиции.

– Ага, работал, – вроде бы обрадовался прокурор.

– И с кем вы работали? – поинтересовался Семенов с каким-то тайным намеком.

– Ну, с геологами, техниками...

– Давно вы их видели? – теперь он спросил с деланным безразличием.

– Это мое личное дело.

– Молчать! То есть отвечать! – вновь крикнул Гостинщиков, придерживая скачущую бородку.

– Ну, видел кое-кого из них месяц назад...

– Говорить правду! – теперь крикнул следователь, заморгав от собственного крика белесыми ресницами.

– Ну, месяца два назад...

– Четыре! – рявкнул Гостинщиков.

– Неправда, – возмутился Рябинин.

– Товарищ Семенов, дай ему в ухо, – приказал работник Прокуратуры РСФСР.

Следователь мгновенно скинул плащ, бросил его на спинку стула и поплевал на руки.

– Физические воздействия запрещены, – слабо возразил Рябинин.

Но Семенов уже схватил его ладонь и сжал своими каменными пальцами. Не вытерпевший Гостинщиков забежал сбоку и клешней вцепился в затылок.

– Больно, черти...

Это были они – его геологи.

С этими людьми начиналась его молодость, с этими людьми он хотел бы жить в одной коммунальной квартире, и случись что, этих людей хотел бы видеть рядом.

Рэм Федорович Гостинщиков, научный сотрудник, кандидат геолого-минералогических наук. Старше Рябинина на десять лет. Они переговаривали обо всем на свете: вечерами, ночами, за ужином, в поездах, а однажды пошли в маршрут и проспорили весь день, не увидев ни одной породы.



Димка Семенов, ровесник Рябинина, коллектор, а по-нынешнему – техник. Он не интересовался геологией, презирал степени и должности, но всю жизнь провел в экспедициях, потому что любил передвигаться по земному шару. Это он как-то поехал в поселок за хлебом и пропал на три дня; вернулся черный, обожженный, веселый – тушил горящую степь. Это он две ночи сидел, как верная жена, у спального мешка, в котором горел температурой простуженный Рябинин. Это он...

Это были они – его геологи, рядом с которыми Рябинин думал о себе чуть хуже, чем без них.

И промелькнуло, исчезая...

*...Всю жизнь он в себе разочаровывается. Неужели был так сильно очарован?*

– Забыл нас? – улыбнулся Димка, блаженно расплываясь круглым и добродушным лицом.

– Три месяца не заходил, подлец, – улыбнулся и Гостинщиков своей особенной улыбкой: наклонил голову, беззвучно приоткрыл рот и сузил глаза, отчего казалось, что он сейчас крикнет или запоеет. Эту улыбку-ухмылку геологи деликатно звали мефистофельской, а за глаза – сатанинской. Поварахи всех полевых сезонов считали ее козлиной, хотя Рэм Федорович объяснял, что козлы не улыбаются.

– Три с половиной, – уточнил Рябинин.

– Э, все идешь по следу?

– Да не по одному. Братцы, сейчас все объясню...

– Тут мне ребята сухой рыбки подкинули с севера, – засуетился Димка, вытягивая из портфеля длинный и острый сверток.

– Э, мне геофизик приволок с вулкана обсидианчик. – Рэм Федорович из того же портфеля вытащил другой сверток, тупой и круглый...

Это были они – его геологи.

*Из дневника следователя. Сегодня приходили мои геологи. Расстроили, разбредили... Как вернулся на одиннадцать... Нет, уже на двенадцать лет назад. Как побывал в юности. И мне показалось, что жить я стал не так – жить я стал хуже...*

*Давно не был в лесу. Давно не видел рассвета. Давно не обращался к себе. Давно не говорил с дочкой тайным бессловесным языком. С Лидой не говорил... Сердце давно не сжималось от гулкого восторга. Давно никого не жалел. Да я давно и не плакал...*

Калязина не шла.

Перед допросом Рябинин обычно занимался пустяками – берег силы; не физические, а какие-то другие, которые могли уходить на необязательные встречи, на ползущие мысли или на случайные нервные вспышки. Он вяло разбирал следственный портфель. И удивился, обнаружив под фонариком пакет с двумя окаменевшими пирожками Лидиной выпечки: он их сразу узнавал по тупым носам и острым спинкам. Эти пирожки остались еще с мартовского выезда на место происшествия...

В кабинет заглянула женщина, окинув Рябинина рассеянным взглядом, – он тоже посмотрел на нее краем глаза, потому что заглядывали часто: ошибались комнатой, кого-нибудь искали или просто хотели увидеть живого, не телеэкранного следователя.

Рябинин держал пакет, вспоминая тот выезд... Пирожков была ровно дюжина – Лида давала их с расчетом на всю оперативную группу. По два пирожка съели Петельников, Леденцов, судебно-медицинский эксперт и шофер дежурной машины; по одному съели понятые. Окаменели пирожки Рябинина, который писал протокол осмотра, и ему было не до еды...

Женщина опять заглянула, обежав кабинетик таким взглядом, словно тот был министерским. Теперь Рябинин посмотрел на нее чуть пристальнее, но она захлопнула дверь, заметно смутившись и полыхнув чем-то красным.

Рябинин не знал, что делать с пирожками: съесть их было невозможно, а выбросить то, к чему прикасались Лидины руки, он не мог. Улыбнувшись, Рябинин завернул их и опустил в карман плаща...

Женщина – оказывается, красной у нее была огромная шляпа – в третий раз открыла дверь и опять сумела окинуть крохотный кабинетик широким и высматривающим взглядом, от которого Рябинину и самому показалось, что у него за спиной кто-то стоит.

– Вы кого-нибудь ищите?

– Мне нужен Рябинин, – приятным грудным голосом ответила женщина.

– Я – Рябинин...

Она улыбнулась, как бы извинив его за непонятливость, и повторила:

– Мне нужен следователь прокуратуры Рябинин.

– Я и есть Рябинин, – вновь проявил он непонятливость.

Теперь ее рассеянный взгляд остановился на следователе, как сфокусировался, – она старалась понять его слова.

– Вы... Рябинин?

– Да. А что?

Она вдруг покраснела хорошей полнокровной краской, сливаясь лицом с цветом своей шляпы.

– Извините меня ради бога... Я думала, что следователь выглядит чиновником. Представляла вас пожилым, недобрым, обрюзгшим...

– Пока не обрюзг, – буркнул он, тоже слегка краснея.

– Вы похожи на скандинава, – решила женщина.

Она уже была в кабинете: крупная, яркая, породистая. Рябинин сделал неопределенное движение, смысл которого и сам понял не сразу, – подавленное желание встать. Но она села, положив перед следователем повестку, а перед собой – бордовую шляпу, которая заняла полстола. Калязина Аделаида Сергеевна.

Рябинин записывал анкетные данные с каким-то неожиданным удовольствием, словно ему нравился и год ее рождения, и ее работа, и адрес... Причину этого удовольствия знать он не хотел. Он не чиновник, чтобы копаться. Он и не пожилой – средних лет он. Видимо, добрый – со стороны виднее. И не обрюзг, потому что дома работает с гантелями и резиной. И похож... на этого – на скандинава...

– Причину вызова знаете?

– Разумеется, – вздохнула Калязина. – Недоразумение.

– Недоразумение?

– Скажите, разве я похожа на преступницу? – почти радостно спросила она, уверенная в ответе, потому что теперь была его очередь сделать ей комплимент.

Хорошо взбитые платиновые волосы падали на крупный лоб прямо-таки весенней дымкой. Ярко-малиновые губы большого рта улыбались. Их веселое напряжение, видимо, передавалось скулам, которые игриво поблескивали. Сейчас губы должны бы взорваться смехом из-за этого самого недоразумения, в которое впал следователь... Но ее прямой длинный нос – видимо, оттого, что она слегка откидывала голову, – был наведен на Рябинина, а взгляд темных, чуть запавших глаз нацелен в его зрачки.

Рябинин на несколько секунд потерял себя, бессмысленно разглядывая стол и опять краснея. Похож на скандинава... На двери висит табличка с его именем, в этом кабинетике может стоять только один стол и может сидеть только один человек. Она мило разыграла легкую интермедию, на которую он клюнул легко, ибо нет приманки надежнее лести.

– Перейдем к эпизодам, – сухо ответил Рябинин на ее вопрос-призыв.  
– Перейдем, – покорно согласилась она.  
– Мошенническое гадание супругам Смирновым на совместимость...  
– Почему мошенническое?  
– Потому что вы их обманули.  
– В чем, товарищ следователь?  
– Выманили пятьдесят рублей.  
– Не выманила, а получила за труд.  
– За какой же? – усмехнулся Рябинин, зная, что ирония действует на умных лжецов отрезвляюще, а Калязина была не глупой – он уже видел.

– Я предсказала им длительную совместную жизнь. Если вам не нравится слово «предсказала», то могу выразиться иначе: я дала им умный совет. Неужели умный совет не стоит пятидесяти рублей?

– Этот совет ничего не стоит хотя бы потому, что он плод научной инсценировки.

– Боже мой, – тихо удивилась она, рассматривая Рябинина заново, словно только теперь его увидела. – И это говорит следователь, который сам должен обладать пониманием психики, предвидением, интуицией. Узнали же вы без всякой науки, что я неглупая...

Рябинин повернулся к окну, – ему нестерпимо захотелось глянуть на улицу. Там было все в порядке... И с домами, и с транспортом, и с пешеходами. Он посмотрел на Калязину, чувствуя подступающее раздражение...

Кто сказал, что с умным человеком приятно беседовать? Чем выше организовано существо, тем оно противнее. Как симпатичен цветок! Но животное уже менее приятно. А про человека и говорить нечего. И чем умнее он, тем отвратительнее. Не зря же все любят детей, животных, дурачков, – они милы своей глупостью.

И промелькнуло, исчезая...

*... Умный человек – неприятен. Опытный – несимпатичен. Сильный опасен...*

Рябинин суетливо выдернул протокол с показаниями Смирнова и неприязненно сказал:

– Мне понятен смысл вопроса о том, кого этот парень больше любит: детей или собак. Хотели проверить, будет ли он любить детей...

– Нет, вы не поняли, – спокойно возразила она. – Ни один человек не признается, что собак любит больше детей. Этим вопросом я проверяла его искренность.

– Допустим, – согласился Рябинин. – А какой смысл вопроса о любимом цвете? Что, если любит желтый, то будет хорошим мужем, а если синий – то плохим?

– О, вы и этого не знаете, – сокрушенно и вскользь заметила она. Любовь к определенному цвету говорит о многом. По крайней мере, я никому бы не посоветовала выйти замуж за человека, любящего черный цвет.

– А если человек выбирает в булочной мягкий хлеб и пробует его вилкой, о чем это говорит?

– Если без конца тычет, то он мелочен. Вы не согласны?

– Допустим, – нехотя согласился Рябинин. – А когда человек поднимается на лифте...

– Тут я проверяла запас жизненных сил. Опять-таки согласитесь, что взбежать по лестнице молодому человеку ничего не стоит. И неестественно, когда двадцатилетний ждет лифта. Такой в жизни многого не достигнет.

Рябинин остыл, – логичные ответы ему всегда нравились.

– Ну, а вопрос о ботинке, который жмет?

– Если испытываемый винит фабрику, то у такого всегда будет виноват кто угодно, только не он. Если винит ботинок, то этот человек самокритичен. А если винит свою ногу, то он скромн и тих.

Рябинин улыбнулся. Но Калязина смотрела холодно, не принимая его улыбки.

– Теперь о семейном знаке, – посерьезнел и он. – Вы сказали, что в их семье заваривать чай должен обязательно мужчина. Неужели и в этом есть смысл?

– Вы что пьете? – деловито поинтересовалась она.

– Компот, – ответил Рябинин, ибо допрос соскочил – может быть, на жмущем ботинке – с тех строгих рельсов, которые ему были проложены всеми инструкциями.

– Компот и чай имеют одну интерпретацию.

– Какую же?

– Вы домашний человек.

– Это научный вывод?

– Разумеется. За спиртным возможен скандал. За кофе возможна сдержанность. А чай – это мир, покой и уют. И если мужчина должен его заваривать, то ему следует приходить домой вовремя, быть спокойным и домашним. Не так ли?

– Так, – покладисто подтвердил следователь, потому что было именно так: чай он тоже считал напитком дружбы, вроде индейской трубки мира.

Рябинин открыл протокол допроса женщины, которую Калязина вдохновила на невероятную, или невероятного, м'куу-м'бембу. Он вдруг заметил, что спешит не допрос кончить, не освободиться от нее и не получить признание, – спешит услышать ответы, которые стали его интересовать.

– Перейдем к той клиентке, которая назвалась Юлией...

– Да, белесая дурочка.

– Почему дурочка?

– Потому что не умеет жить с мужем.

– Что же вы не дали ей умного совета?

– Как это не дала? – искренне удивилась Калязина.

Рябинин скосил глаза в протокол допроса Юлии и прочел вслух:

– «Она сказала, что все мужчины делятся на карьеристов, бабников и алкоголиков».

Очень умно!

– Буду вам признательна, если вы назовете мужчину другого типа.

Рябинину захотелось назвать ближайшего к ней мужчину – себя. Но любопытствующий вопросик опередил:

– А я какого типа?

Она прищурилась и заиграла красивыми губами, словно начала кокетничать.

– К женщинам, кроме жены, вы равнодушны. Алкоголь для вас не существует. Вы карьерист.

– Угу, – буркнул Рябинин, неожиданно обидевшись; и оттого, что по-глупому обиделся, он тихо на себя разозлился.

– Я могу доказать, – смиренно предложила она, видимо, заметив его обиду.

– Не надо, – сказал Рябинин, уже злясь на себя явно: не стоило задавать ей этого вопроса, да и про компот шутить не стоило.

Он покопался в бумагах, чтобы вышла пауза, необходимая ему для продолжения допроса, как антракт для спектакля. Почему разозлился? Уж в чем в чем, а в карьеризме был не грешен. Неужели задела ее беспардонность: подозревается в мошенничестве, а называет следователя карьеристом? Но ведь сам напросился.

– Скажите, если мужчина любит мягкую булку, то, значит, он любит женщин? – строго-вато спросил Рябинин.

– Фрейд создал свою ошибочную сексуальную теорию психоанализа на сновидениях. Я свою, допустим, тоже ошибочную, на вкусах. Так его десятки лет изучают и цитируют, а меня, Сергей Георгиевич, таскают в прокуратуру.

Вот как – знает, что он Сергей Георгиевич. В глазах, на губах и даже на ее щеках притихла легкочитаемая улыбка: ну, конечно, я не Фрейд, но и таскать меня в прокуратуру не надо.

– В конце концов, не стоит придирается к терминам, – продолжала она скрытно улыбаться. – Я учила ее познать своего мужа.

Эта потаенная улыбка звала следователя к пониманию. Он понимал. Ее поступки – нечастые в уголовной практике своей замысловатостью. Их мотив, древний, как мир, – корысть. Логичные объяснения, увлекшие его умом и оригинальностью. Он понимал. Но потаенная улыбка просила большего сочувствия; просила мягко, интимно, и был в этой просьбе почти незримый дымок наглости, как и во всем потаенном.

– Ну, а чему учила ваша женская доминанта, которая принесла клиентке столько неприятностей?

Она вздохнула и заговорила обидчиво:

– Вот уж верна пословица; дурака учить – что мертвого лечить. Да я учила ее тому, без чего нет женщины!

Рябинин чуть не пошутил: найти м'куу-м'бембу. Но вспомнил, что об этом Калязина уже не знала.

– Я хотела сделать ее желанной, интересной и соблазнительной.

– Каким же образом?

– Есть бабы, и есть женщины. Чтобы первая стала второй, думаете, нужна красота, ум, образование, тряпки? Нет, нужна изюминка. Вот такая крохотная изюминка... – Она собрала бордовые ногти правой руки в горстку, показывая малость этой изюминки. – Женщина от бабы отличается изюминкой. Нет изюминки – и нет женщины. И никакие косметические кабинеты не помогут.

– При чем же ваша доминанта?

– Это и есть изюминка. Я сыпала их в эту Юлию, как в сдобу. Вот только тесто оказалось без дрожжей. – Она вновь улыбнулась и спросила: – Про изюминку согласны?

Рябинин не ответил, потому что промелькнуло, исчезая...

*...Не пирожки. В кармане плаща лежали не пирожки, а булочки с изюмом. Петельников тогда спросил: не с мясом ли? С изюмом. Женщину наипиговать чужим изюмом. Да сколько женщин, столько и изюминок. Любовь – не поиск ли этой изюминки? Нет. Это поиск своей единственной изюминки в своей единственной женщине...*

Он так и не ответил, как всегда запоздало удивившись этому исчезнувшему мигу, после которого ничего не осталось – будто самолет пролетел. Рябинин пошевелил бумаги, потому что его вопросы кончились. Вот только каракулевая шуба...

– Пальто у женщины покупали? – как бы между прочим спросил он, сообщив интонацией, что это пальто к допросу не очень и относится.

– Я смотрела шубу, а не пальто.

Не скрыла, а могла бы: опознания не было.

– Купили?

– Не подошла. Откуда вы знаете про шубу?

Рябинин повертел заявление хозяйки этой шубы, усмехнулся и положил его в папку, – женщина запуталась в каракуле.

– Работа у нас такая, – банально ответил он и посмотрел на Калязину...

Рябинину показалось, что по ее лицу скользнула короткая тень, словно за окном пролетела птица; но никакой тени не было – он знал, что ее не было, как не было и птицы за окном. Он хотел оживиться, хотел ринуться за этой незримой тенью и найти то, что все-таки бросило ее на лицо Калязиной... Но сознание, здоровое сознание не признало незримой тени от несуществующей птицы, – хозяйка шубы ясно написала, что произошла ошибка. Да вроде бы и другие эпизоды не имели состава преступления.

– В моих действиях нет состава преступления, потому что я не допускала обмана, – подтвердила она его мысль.

– Посетили адвоката?

– В порядке необходимой обороны.

Нет, не посетила, – видимо, она знала Уголовный кодекс не хуже адвоката.

– Сергей Георгиевич, а почему следователи ищут только плохое и не замечают хорошее?

– Что я не заметил хорошего?

– Вы собрали лишь те случаи, где за услуги я брала деньги. А где не брала?

– Такие эпизоды мне неизвестны.

– А я вам сообщу. Гражданке Сидоркиной я достала гарнитур, добавив двести сорок рублей своих собственных.

– Почему добавили?

– Пожалела ее.

– Хорошо, вызову Сидоркину.

– Я всегда стараюсь помогать людям.

– За деньги?

– Сергей Георгиевич, – с особой теплотой заговорила она. – Я брала деньги с частных лиц, и брала их за советы. Вы же берете деньги с государства, и берете их за бесполезные допросы.

Рябинина удивило не хамство – удивил точный расчет: она сказала эти слова лишь после его, казалось бы, тайного решения о ненаказуемости ее пророчеств. И только теперь он почувствовал, что перед ним сидит все-таки преступница.

– Вот как вы заговорили, – тоже с теплотой сказал Рябинин. – Надеетесь выйти сухой из воды?

– Я надеюсь на законность.

– Но ведь кроме формального состава преступления и вашей безупречной логики существует совесть. Людей-то вы все-таки обирали?

Она с готовностью заулыбалась, словно ждала упоминания о совести.

– Если бы я давала советы бесплатно, их бы не ценили.

– Почему же?

– Настоящий товар стоит денег.

– Неужели никто не усомнился в вашем товаре?

– Товарищ следователь, да я выйду на улицу, встану, протяну руку, и мне будут класть в нее тройки и пятерки.

– Ага, и десятки.

– Не верите вы, Сергей Георгиевич, в нашего человека, – вздохнула она.

Рябинин поднялся взглядом с ее подвижных губ к нацеленному носу, потом, как-то минуя глаза, к просторно-философскому лбу и остановился на платиновом нимбе волос – Калязина была красива. И от этой красоты ему вдруг так стало противно, что он откровенно поморщился:

– Я вас еще вызову...

*Из дневника следователя. Есть три специалиста, которые должны нами считаться как благороднейшие и наипервейшие в обществе, – врач, учитель и юрист. Им мы вручаем самое дорогое, что только у нас есть: врачу – наше здоровье, учителю – наших детей, юристу – поиск справедливости.*

*Калязина взорвала меня не мошенничеством... Она же врач!*

Автобус покачивало. Петельников старался не шевелиться и стоял как привинченный к полу. И все-таки старушка не удержалась:

– Господи, с утра хлещут...

На остановке он спрыгнул и пошел в прокуратуру пешком.

Инспектор ехал с обыска. Самогонщица выхватила из шкафа бутылку с бледно-ржавой жидкостью и уронила ее на пол с радостными словами «Ой, простите!». Это «простите» она бросила раньше, чем бутылку. Прежде чем разлететься на крупные куски, бутылка задела стол, поэтому добрая половина жидкости еще в воздухе вылилась на инспектора, пропитав брюки и даже попав в ботинок. Теперь самогон испарялся.

Петельников отшагал два квартала и у тополей свернул на асфальтовую дорожку к прокуратуре, вдыхая пропадающий запах почек, который еще остался на бледно-салатных листочках, – дух смолы и меда. Между тополями и зданием было что-то вроде скверика: стояло несколько свежеекрашенных скамеек, и тянулась узкая рабатка с крепкими стрелами-листьями ирисов. Цветы будут синими: комендант Александр Иванович сажал только синие.

Инспектор прошел мимо небольшой толпы женщин – человек десять сгрудилось у скамейки. Он прошел бы мимо, потому что в здании жила не одна организация и люди всегда роились у входа. Он наверняка прошел бы мимо, потому что десять женщин могут образовать толпу ради пары босоножек. Но Петельникова остановил голос, который шел из центра этого людского скопища и который он где-то слышал.

Инспектор вернулся и тронул локоть девушки, стоящей чуть в стороне:

– Что дают?

– У человека дом в пригороде сгорел, – сердито ответила она. – Два рубля я пожертвовала.

– А я три, – с готовностью объяснила вторая девушка. – Осталась, бедняжка, в чем была...

Пожилая женщина повернулась к ней и, вытирая глаза, тихо возмутилась:

– При чем тут «в чем была»? У нее муж в доме сгорел.

– Я пятерку пожертвовал, – сказал мужчина; был-таки здесь и один мужчина.

Петельников слегка протиснулся...

На скамейке сидела дама средних лет с красными веками, опухшими губами и почему-то мокрой прической, словно ее только что окатили из пожарного шланга. Она нервно комкала платок и рассказывала обессиленным голосом:

– Пришла я утром на пепелище... От него еще пар идет. Стала разгребать золу. И вижу – кость, да не одну. Моего Андрея косточки... Захотелось мне упасть в золу и задохнуться ее гарью...

Петельников узнал: Калязина Аделаида Сергеевна, с которой он сталкивался по заявлению о пропаже каракулевой шубы.

– И вдруг из золы, из этого праха...

– Она обвела взглядом напряженные лица и остановилась на инспекторском – самом напряженном, самом сочувствующем.

– Ну, и? – подбодрил он.

– Из этого праха послышался как бы тихий стон, – чуть слышно выдохнула Аделаида Сергеевна, не отводя взгляда.

– Ну, и?... – повторил инспектор.

– Это стонала душа моего Андрея, товарищ Петельников.

– Граждане! – обратился он к людям. – Выяснилось, что стонала не душа, а ее муж Андрей, который оказался закрытым в подполе. Он жив и невредим. Попрошу всех назвать свои фамилии и адреса.

– Зачем? – удивилось сразу несколько голосов.

– Для прессы, товарищи, для прессы, поскольку вы не бросили человека в беде.

Инспектор за пять минут переписал свидетелей, печаль которых чуть развеялась, – попадают в газету.

– А вам, гражданка Калязина, предоставляется двухкомнатная квартира, как пострадавшей от стихийного бедствия. Пойдемте со мной, товарищ Рябинин вручит вам ордер.

Аделаида Сергеевна вскочила и, пока инспектор прятал записную книжку, в один миг рассовала все деньги уже ничего не понимавшим людям:

– Спасибо, мне дали квартиру, и теперь деньги не нужны...

– Сколько набрали? – сурово спросил инспектор.

– Не считала, – смиренно ответила Калязина и вдруг удивилась: – Чем это пахнет?

– Алкоголем, – сказал мужчина, воззрившись на инспектора.

– Друзья мои, – просительно, со слезой заговорила Аделаида Сергеевна, когда с вами будет беседовать пресса, не забудьте про этот запах, исходящий от гражданина Петельникова.

*Из дневника следователя. Думаешь, ищешь, мучаешься... Время проходит, капли собираются, и однажды тебя стукнет наизусть. Радость! Сам додумался. И вот открываешь какую-нибудь книгу и видишь свою вымученную мысль, напечатанную черным по белому. Но самое поразительное не то, что додумались до тебя, а то, что эту мысль ты, оказывается, знал и раньше. Знал, а искал.*

*И вот тебя осенит: ты ее знал, да не понимал. Только пройдя к ней путь сам, своими ногами, ты впитаешь ее в душу свою. Пусть она найдена до тебя теперь эта истина твоя.*

*Поэтому то, чем жив человек, – справедливость, любовь, доброта, смысл жизни... – нужно рождать самому, ни на кого не перекладывая, как мать не перекладывает роды своего ребенка.*

Лида верила в тайный, почти мистический зов: нужно думать о человеке и держать в руках его вещь – и он придет. Поэтому она штопала рябининские носки, которые на пятках истлевали мгновенно, на третий день. От ходьбы. Он бродил вечерами по квартире, шел пешком до прокуратуры, умудрялся ходить по своему кабинетику и, не будь дежурной машины, до места происшествия добирался бы ногами.

Лида натянула носок на электрическую лампочку – сейчас он поднял голову от своих протоколов. Она взяла подушечку и выдернула иголку – он глянул на часы и подумал: «Ого, уже восемь». Вдела нитку – он запер бумаги в сейф. Сделала первый стежок – погасил свет. Второй стежок...

В дверь позвонили короткой трелью, которую мог выводить только инспектор Петельников.

Он стоял на лестничной площадке, чуть покачиваясь от радости.

– Принимают ли в этом доме незваных гостей?

– А званых-то не дождешься, – улыбнулась Лида.

Тогда Петельников сделал галантный жест в сторону, и за ним, как за ширмой, оказалась высокая тоненькая девушка в брючном костюме морковного цвета. Они вошли. От их длинных фигур вроде бы сделались ниже потолки.

– Знакомьтесь. Лида, жена моего друга. Галина, мой новый друг, подпевает ансамблю «Поющие трамваи».

– «Поющие травы», – звонким голосом поправила Галина. Еще в передней Лида успела глянуть в веселые глаза инспектора: «Опять смотрины?» «Опять», – ответили веселые глаза.

– Сергея Георгиевича нет? – догадался Петельников.

Рябинин был ему не очень и нужен, потому что предстояли смотрины, в которых экспертом выступала Лида. Однажды инспектор шутя поклялся не жениться без ее одобрения. И вот иногда заскакивал с девушками – одна лучше другой.



– Ваш муж тоже человек искусства? – спросила Галина, разглядывая полки с книгами. Лида не успела ответить и не заметила этого «тоже», потому что выгребала из кресла штопку. Ответил Вадим:

- Он артист оригинального жанра.
- Фокусник?
- Нет, гипнотизер. Человека насквозь видит.
- Я обожаю людей искусства, – одобрила Галина профессию хозяина дома.
- Она ими бредит, – пояснил инспектор.

Лида улыбнулась: в прошлые смотрины кандидатка в жены бредила учеными. И Вадим был тогда вроде бы психиатром...

Сели пить кофе. Петельников смаковал коньяк. Галина свою рюмку вылила в кофе и закурила сигарету. Лида пила чай – без Рябинина она пила только чай, и тогда казалось, что Сергей рядом.

- Чудесная погода, не правда ли? – поделился Вадим.
- Мой знакомый тенор поехал на Кубу... Вот где погода так погода, поддержала разговор гостья.

- А меня вы будете звать баритоном? – полюбопытствовал инспектор.
- Почему же? – удивилась Галина. – Вы ведь жонглер.
- Вадим, а чем вы жонглируете? – заинтересовалась и Лида.
- Всем. Бутылками, палками, ножами и даже кастетами.

«Какова?» – спрашивали глаза инспектора. «Красавица», – без слов отвечала Лида, разглядывая гостью. Большие дерзковатые глаза, ниточки разлетных бровей, вспухшие губки, ровненький румянец... Где-то Лида ее видела. Конечно, видела – на цветастой афише мюзик-холла. Только их там стоял бесконечный ряд, с красиво и синхронно вскинутыми ножками.

- Сейчас жонглеры не престижны, – заметила Галина.
- Неужели вы думаете, что я всегда был жонглером? – чуть не обиделся Петельников. –

Мы и классикой занимались.

- Вадим, расскажите, а? – невинно попросила Лида.
- Я руководил квартетом имени Крылова, – гордо объявил инспектор.
- В квартете главное правильно сесть, – вставила Лида.
- Сначала я их усадил «один-два-один», а потом – «е два» – «е четыре».
- По-моему, это из шахмат, – удивилась Галина.

– Хорошо, если бы из шахмат, а то пришел человек из ОБХСС. Дело в том, что первую скрипку я оформил по совместительству продавать билеты. Вторую скрипку зачислил на ставку няни – как бы ухаживать за инструментами. Альта провел ночным сторожем – вроде бы караулить барабан. Виолончель пошла в уборщицы – якобы убирать инструменты в чехлы. Ну, а сам зачислился кладовщиком – вроде бы отпускаю запасные смычки.

- А вы деловой, – опять удавилась Галина.
- И сколько я ни доказывал, что симфонический оркестр – это тот же квартет, только с раздутым штатом, нас все-таки ликвидировали.

- Квартеты теперь не престижны, – согласилась с таким решением Галина.
- Разумеется, – согласился и Петельников, – поэтому я перекинулся на балет.

Он все смаковал рюмку, серьезно разглядывая свою новую подругу. Его глаза уже ни о чем не спрашивали и не смотрели на Лиду.

- Вы учились хореографии? – заинтересовалась Галина.

– Я перекинулся руководить. Прежде всего пересмотрел классическое наследие. В балете, как вам известно, танцуют без юбок. Поэтому кем работают балерины – неизвестно. Якобы лебедями. Я же придумал танцы по профессиям. Например, танец рыбаков. У каждого танцора в руке по мороженому хеку...

– В театре? – Галина смотрела на инспектора, словно тот и сам превратился в мороженого хека.

– Нет, в Доме культуры. Еще был танец таксистов – ребята прыгали вприсядку и кричали: «Едем в парк». Неплохой получился танец работников гостиниц – девушки плясали с пылесосами и пели: «Местов нету и не будет...»

Лида не выдержала – рассмеялась.

– Тогда я поставил танец водопроводчика, надев на голову танцору фановую трубу. Эта труба и увлекла его в оркестровую яму. В результате дирижер заикается, а я уволен.

– Вадим, красоту бы пощадили, – сказала Лида.

– Глупость недостойна пощады, – быстро ответил инспектор.

– В Доме культуры все возможно, – авторитетно разъяснила Галина.

– Тогда хоть будьте справедливым, – вздохнула Лида.

– Красота без ума – это несправедливо, – скороговоркой возразил Петельников.

– В Доме культуры полно дураков, – согласилась Галина.

– Нет, справедливо, – тихо сказала Лида. – Нельзя одному все: и ум, и красоту.

Она налила им в опустевшие чашки кофе. Галина глянула на свою пустую рюмку, но Петельников не пошевелился. Он и свою не допил.

– Сейчас престижны ВИА, – сообщила Галина, элегантно отпивая кофе.

– ВИА переводится на русский язык как вокально-инструментальный ансамбль, – объяснил инспектор Лиде и вдруг сурово обратился к Галине: – А знаете ли вы, что я был известным эстрадоманом, микрофоноведом и виалубом?

– Забавно, – не поверила она.

– А знаете ли вы, что это я организовал вокально-инструментальный ансамбль «Аккордные ребята»? Я уж не говорю про «Поющих лауреатов». А известный ансамбль «Четвертинка»? А престижная программа «Шумели ноты, тромбоны гнулись»?

– Чем она престижна?

– Как чем? Триста восемьдесят вольт, плюс шесть динамиков, плюс акустика, плюс два микрофона лопнуло, плюс оглохший первый ряд, плюс шесть зрителей в обмороке! А знаете ли вы, что в консерватории я читаю лекции по теории музыки: до-ре-ми-фа-оль-ля-си, кошка села на такси?

– Разыгрываете? – фыркнула Галина.

– Разыгрываю, – согласился инспектор.

Гостья поежилась, словно замерзла от горячего кофе, и беспомощно посмотрела на хозяйку.

– Он шутник, – успокоила ее Лида.

– Я хочу открыть жуткую тайну, – серьезно заговорил инспектор. – Я никакого отношения не имею к искусству, а работаю токарем.

– Опять разыгрываете?

– Разыгрывает, – подтвердила Лида. – Он милиционер.

– Без звания? – спросила Галина.

Петельников встал и произнес высушенным, усталым голосом, какой у него бывал после дежурства:

– Простите меня, Лида.

Он посмотрел на нее долгим взглядом: «Стоит ли щадить глупость?» Лида ответила таким же: «Стоит быть терпимым».

*Из дневника следователя. Все ли ищут смысл своей жизни? Я думаю, что все. Может быть, «ищут» – слишком громко сказано, но каждый хоть раз в году задумывается о себе, о*

своем месте, о своем назначении... Каждому хоть раз в году становится грустно от утекающего времени. И каждый хоть раз в году удивленно спрашивает себя, для чего и как живет.

Есть люди, которые, задумавшись, отвечают благостно и довольно: «Живем не хуже других». Есть те же самые люди, которые, задумавшись в эту сокровенную минуту, вздохнут и скажут: «А хочется жить лучше других».

Есть, есть люди – сколько их? – которые в формуле «жить, как живут все» видят смысл жизни. Да что там смысл – счастье свое в ней видят.

**Из газеты «Простофили».** Как известно, самый надежный способ получать деньги – это работать. Не так думала некая Калязина А. С., которой не давали покоя лавры неизвестного Остапа Бендера. Только в отличие от него Калязина не утруждала себя поисками оригинального способа извлечения денег из карманов граждан. Она сделала просто: взяла в руки мокрый платок, села в скверике и со слезами на глазах начала рассказывать прохожим душеспасительную историю о том, что у нее якобы сгорел дом и муж. И люди клали ей в дрожащую ручку деньги.

О мошеннице говорить еще рано, поскольку следствие не окончено. А вот о тех, кто давал деньги, поговорить стоит...

Вроде бы все знают басню Крылова о той вороне, которая упустила сыр. И все-таки простофили не перевелись. Взрослые тети и дяди, утирая повлажневшие глаза, слушали басню о косточках мужа и выкладывали денежки. Не спросили ни документов, ни фамилии, ничего не проверили и не разузнали. Ей нужна помощь? Пожалуйста! Ну не ротозейство ли это?..

Рябинин посмотрел в окно – там, в скверике, в тополях, вроде бы начиналось лето. Окрепли листья, потеплела земля, посветлела кора деревьев, и заблестели под солнцем скамейки. И отцвели синие ирисы Александра Ивановича... Рябинин обернулся – комендант стоял у двери, тускло изучая пол.

– Натирать будем?

– Да не знаю...

Александр Иванович поднял глаза на стены, разглядывая их подозрительно.

– Ремонтировать не пора?

– Вроде бы чистые.

– Рамы не подкрасим?

– На ваше усмотрение.

Комендант воззрился на потолок и через тягучую минуту сообщил:

– В буфет банан подвезли...

– Спасибо, – улыбнулся Рябинин.

– Не пойдете? – спросил Александр Иванович, потому что следователь продолжал сидеть.

– У меня от них изжога.

От мучнистой сладкой мякоти была изжога. Но Лида их любила, поедая быстро и вкусно, как обезьянка. Он увидел жену с бананом в кресле, вечером, под торшером – и потянулся к портфелю. И тут же представил набежавшую очередь – нервную, напористую, из одних женщин – и опустил руку. Очередей он стеснялся.

Рябинин не любил говорить о деньгах, вещах, квартирах... Ему казалось, что беспокоиться о материальном – стыдно, а если уж заставляет жизнь, то делать лишь самое необходимое и делать как-то незаметно. Он не очень понимал людей, которые носились со своими физиологическими потребностями – едой, сном, сексом, – доказывая, что все естественное естественно. Были и у него материальные заботы, были и физиологические потребности. Но его ум...

И промелькнуло, исчезая...

*...Человек – это тело, мышцы, нервы, материя. А материи подобает заботиться о материальном. Нет. Человек – это все-таки ум, совесть, чувства, дух. Чего же стоит дух, обслуживающий лишь свое тело? Стыдно же. Духу духовное...*

– Я банан тоже не уважаю, – поделился комендант. – Говорят, витамины-витамины, а их роль в организме сильно завышена. В траве витаминов полный комплект. Корова эту траву употребляет с утра до вечера. А как была коровой, так коровой и осталась.

– Наверное, витамины на интеллект не влияют, – развеселился Рябинин.

Вот и Александр Иванович думает о материи и духе. Видимо, и о смысле жизни думает.

Скраденными шажками он уже добрался до середины кабинета и стоял как-то необязательно и не очень заметно – маленький, сухощавый, безвозрастный... С волосами, зачесанными...

Однажды Рябинина удивило известное выражение «волосы, зачесанные назад». Разве можно зачесывать вперед? Оказывается, можно: у коменданта была темная косая челка. В черном дешевеньком костюме, – а он ходил только в черных костюмах, – говорили, что комендант где-то когда-то закупил их штук двадцать, якобы сшитых на покойников. В синих носках, всегда в синих, говорили, что после войны он где-то купил тюк белый нитяных носков и до сих пор красил их дома в синий цвет.

– Про эту-то, которая в сквере денежки выманила, газета пропечатала, опять сообщил комендант.

– Какая газета?

– Вчерашняя «Вечерка».

Вчерашняя «Вечерка», еще не читанная, лежала в портфеле. Рябинин извлек ее, сразу отыскал заметку и начал читать...

Тихие, еще далекие, как загоризонтные громы, услышал он стуки в висках. Злость, она. Стуки крепили, шли уже по груди, стягивая там все тяжелой щемящей силой, словно на нее давила земля. Злость. Она полегоньку пройдет, и грудь отпустит. Нет, не отпустит, пока он...

Александр Иванович, освободившись от новостей, ушел скраденными шажками – только белесой синью мелькнули недокрашенные носки.

Рябинин снял трубку и набрал номер: надо бы поехать, чтобы лицом к лицу, но в груди стучало, и он боялся, что не довезет этого стука.

– Мне, пожалуйста, Холстянникову.

– Я слушаю.

– Здравствуйте, говорит следователь Рябинин.

– А-а, здравствуйте, – обрадовалась она. – Наверное, прочли мою статью?

– Прочел, – угрюмо согласился Рябинин.

– Ну и как? – почти кокетливо спросила Холстянникова.

Он не знал ее имени – тогда, у него в кабинете, она представилась официально: корреспондент Холстянникова. Молодая, высокая, в джинсовом брючном костюме, синевато-дерюжном, как носки Александра Ивановича. Впрочем, этот костюм мог называться как-нибудь иначе, ибо брюки были окорочены, с какими-то широкими манжетами, которые лежали на высоченных блестящих сапогах, и Рябинину все казалось, что за окном ее ждет привязанная лошадь.

– Как говорится, у вас бойкое перо, – промямлил он.

– Правда? – обрадовалась корреспондентка.

– Я хотел спросить о другом...

– Пожалуйста.

– Скажите, что вы цените в женщине?

– Много, – не удивилась она вопросу. – Интеллект, красоту, энергию, грацию... Что еще?

- Вы забыли самое главное женское качество.
- Умение любить?
- Важнее.
- Верность?
- Нет.
- Обаятельность?
- Неужели в детстве у ваших кукол не отрывались ручки-ножки? – глухо спросил Рябинин.
- А-а, – рассмеялась она. – Умение шить?
- Нет, жалость.
- Ради этого сообщения вы и звоните? – уже без смеха спросила она.
- «Сообщения». Это о жалости, которая дороже красоты, энергии и грации... Есть-таки у корреспондентки верховая лошадь с седлом, стременами и этими... шпорами.
- Звоню, чтобы рассказать случай. Лет десять назад я отстал от поезда и очутился без денег и документов. Знаете, кто меня выручил?
- Кто? – спросила она, уже что-то подозревая.
- Простофили и ротозеи.
- Но как явление...
- И не спросили ни документов, ни справок, – перебил он. – Поверили на слово.
- Вы что ж, оправдываете простофиль?
- Да это же хорошие люди с открытой душой! – прорвало Рябинина.
- Странно слышать от следователя...
- Вам бы в статье воспеть этих людей, которые отозвались на беду незнакомого человека!
- Извините, но учить меня не стоит, – отрезала она. Рябинин перевел дух, хотя он не взбирался на гору, а говорил в трубку чуть повышенным тоном. Тяжело задышала и корреспондентка, словно только что соскочила со своей лошади.
- Я напишу официальное письмо главному редактору, – сказал Рябинин.
- Представляю, как вы мягкотело обращаетесь со своими преступниками, усмехнулась она.
- А я представляю, как в детстве вы отрывали ручки своим куклам...

***Из дневника следователя.** Предложу мне перед тяжким испытанием выбор товарища – хитрюгу или простофилю, – я выберу простофилю. Возможно, хитрюга ловчее бы миновал пули и взрывы, расщелины и топи... Но из расщелины меня вытащил бы простофиля. Я люблю простофилю, – это же люди с открытой душой. В том обществе, которое мы построим, будут жить лишь одни простофили; будут жить только люди с честной и открытой душой, потому что пропадет нужда запечатывать ее, как и пропадут враги душевной простоты.*

***Из постановления следователя...** Учитывая вышесказанное, а также руководствуясь пунктом 2 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, постановил: уголовное дело в отношении гр. Калязиной Аделаиды Сергеевны прекратить за отсутствием в ее действиях состава преступления.*

***Из дневника следователя.** Я-то прекратил. Прекратит ли она?..*

## Часть вторая

Вера Михайловна вышла из автобуса и свернула в парк. Магазин открывался поздно, в одиннадцать, и она взяла за правило гулять полчаса в любую погоду.

Июнь пришел неожиданно – он всегда так. Другие месяцы плавно переходят один в другой, не придерживаясь четкого календарного деления: тухнут метели, сникают морозы, растворяются в солнце снега, перестают бежать и блестеть воды, и зеленой дымкой начинает покрываться черная земля и остолбеневшие за зиму деревья... Июнь же вдруг: выйдешь в солнечный день на улицу, а кругом лето. Бог весть откуда взялись крупные листья, взметнулись травы и взярилась жара. Еще утро, десять часов, а солнце уже припекает.

Вера Михайловна пошла березовой аллеей. Она глубоко вдыхала тот непередаваемый запах, который идет от берез в начале июня. Ей казалось, что такой воздух исцеляет, хотя он и не лесной. В последнее время Вера Михайловна чувствовала какую-то тяжесть в груди. Может быть, стоило пойти к врачу, но она не считала эту тяжесть болезнью. Возраст, возраст стучался в грудь своей намекающей дланью. Все-таки пятьдесят лет. Из них тридцать в торговле, все на нервах, все на криках...

– Тени, тени, тени!

Вера Михайловна отпрянула от небольшой женщины, которая вроде бы появилась ниоткуда, из кустов жасмина. Черные, с сиреневым отливом волосы; смуглое высушенное лицо; темная шаль с глуховато-красными разводами. Цыганка.

– Купи тени для очей, блондиночка! – сказала она в лицо Вере Михайловне, блестя своим черным цветом, как ворона на солнце...

– Какая же блондиночка? – благодушно отозвалась Вера Михайловна, не убавляя спокойного шага. – Жизнь сединой выбелила.

Цыганка поняла, что эта женщина теней не купит. Она спрятала куда-то под шаль цветные коробочки и засемила рядом, пританцовывая:

– Давай погадаю, а? Всю правду скажу, как на ладонь выложу.

– Всю правду? – улыбнулась Вера Михайловна.

Цыганка воспрянула, забежав вперед:

– Ай, красавица, зачем не веришь? Все скажу, ничего себе не оставлю. А если правду не скажу, копейки мне не давай.

Время еще было. Солнце грело радостно и ярко. Березовый воздух пился со вкусом. И не болела грудь. Почему же не погадать?

– А сколько возьмешь?

– Зачем обижаешь, красавица? Ничего не возьму, сама дашь, если не пожалеешь...

Вера Михайловна отошла на край аллеи и протянула цыганке левую руку. Гадалка схватила кисть, завертев ладонь так и этак, высматривая ей одной ведомые линии.

– Вот тебе и космос с кибернетикой, – усмехнулся проходивший парень.

Вера Михайловна слушала цыганку с безразличным лицом, показывая, что все это лишь развлечение, позволительное в нерабочее время. Казенный дом, бубновый король, недаленная дорога... Да у кого в жизни нет казенного дома и недалней дороги? Она гадалке не верила, ни одному слову не верила, и лишь на всякий случай, почти неосознанно, допускала в ее предсказании крупницы правды. Вот так и с богом – не верила, но благоговейно поглядывала на иконы и купола: мало ли что?

Цыганка понизила голос и заговорила значительно, с каким-то таинственным намеком:

– Стоишь ты, красавица, у дорогого блеска и сама блестяешь от него. А блеск тот каменный жарче золота. Цари от него слепли, начальники от него глохли, простые люди от него помирали. Красавица ты моя, хочешь – плати мне монету звонкую, а хочешь – уходи, но и

тебе плохо будет от того блеска каменного. Так плохо, красавица, что кончаю я гадать, нельзя дальше...

Вера Михайловна испугалась; испугалась посреди парка, меж людей и при ясном дне. Она торопливо вытащила рубль.

– Красавица моя, неужели правда теперь рубель стоит, а?

Вера Михайловна сунула ей трешку и пошла, не ответив, не сказав спасибо и не оглядываясь.

«Стоишь у дорогого блеска...» Это и ошарашило, испугав до внезапной сухости во рту и до мурашек на спине. Она и в самом деле стояла посреди дорогого каменного блеска. Как же узнала цыганка? Если тут узнала правду, то правдой будет и второе, страшное, которое гадалка даже не решилась сказать.

Вера Михайловна пошла медленнее. Какая-то сила, могучая и внезапная, притушила день, как придушила: потускнели солнечные лучи, поблекла зелень, улетучился в космос березовый запах... Но так было несколько секунд, пока она не тряхнула головой и не сказала себе громко, на всю аллею:

– Дура старая!

На левой ладони пишется судьба, как там пишется и чем – знают одни гадалки. Но неужели там написано, что она посреди каменного блеска стоит? А Вера Михайловна стояла, потому что за прилавком не посидишь. Да видела ее цыганка в магазине – вот откуда и предсказание. Ну а про страшное придумала для веры: скажи про счастье с королем из казенного дома – клиентка посмеялась бы и дала рубль. А за правду – трешку.

*Из дневника следователя. Разговор с непорядочным человеком вызывает у меня затруднения. Показать, кто он есть, – нельзя, потеряешь контакт. Вообще не разговаривать – тоже нельзя. И тогда остается только одно: делать вид, что перед тобой порядочный человек.*

Телефонный звонок отрезил его сразу и от всего. Он схватил вечно готовый портфель, содрогнул дверцей сейфа оконные стекла и ринулся к Беспалову.

Юрий Артемьевич положил трубку и недоуменно поморщился:

– Дежурный рекомендует с выездом обождать. Еще позвонит.

О работе Беспалов мог говорить и без курева. Но любая посторонняя тема, казалось, магнитной силой извлекала пачку из его кармана.

Он закурил каким-то легким движением руки, похожим на росчерк пера, и поскорее выдохнул первый дым, словно он ему был и не нужен.

– Работы навалом. Жена ворчит...

Его тоже ворчит? Или все жены ворчат, не чувствуя рядом мужей? А разве Лидины тревожные вопросы можно назвать ворчаньем?

– Впрочем, для чего и живем, как не для работы, – вздохнул прокурор фальшивым вздохом и отвел взгляд, чтобы не выдать своей хитрости.

Рябинин все понял. Фальшивый вздох относился не к сути поведенной мысли – живем для работы, – а к тому, зачем она сейчас была сказана: продолжить их вечный разговор, который возникал и обрывался внезапно, словно изредка включали магнитофонный диалог. На этот раз кнопку нажал прокурор, что, впрочем, он делал чаще своего собеседника. Но перед выездом на место происшествия Рябинин говорить не мог – сидел как на углях.

– Наоборот, – вяло ответил он.

– Что наоборот?

– Мы работаем, чтобы жить.

– По-моему, это одно и то же. Работать – это жить, а жить – это работать.

– А по-моему, нет, – не согласился Рябинин таким пресным голосом, что на этом разговор должен бы и кончиться.

– Вы, Сергей Георгиевич, никогда не отыщете никакого смысла, потому что отвергаете труд как главное дело жизни, – сказал прокурор, внимательно посмотрел на следователя и добавил: – По-моему.

Рябинин не стал бы и отвечать, если бы не это «по-моему», сказанное уже дважды и снявшее категоричность его слов.

– Я не отвергаю труд как главное дело жизни. Я отвергаю труд как смысл жизни.

– А разве это не одно и то же – дело жизни и смысл жизни?

– Смысл жизни шире дела жизни.

– Человек ведь существо трудящееся, – автоматически возразил прокурор, не успев осознать рябининских соотношений.

– Лошадь тоже существо трудящееся.

Беспалов рассмеялся:

– Лошадь, наверное, и не понимает, что трудится.

– Мы понимаем. Только этим и отличаемся?

– Сергей Георгиевич, да человека растить начинают с труда...

– А вы заметили, что молодежь не всегда с охотой слушает про труд?

– Не сразу осознает.

– Нет. Она сердцем чувствует, что дело не только в одном труде, заговорил Рябинин уже окрепнувшим голосом, ибо спор вырисовывался непустячный и с непустячным человеком.

– А в чем же?

Простого ответа Рябинин не знал, как его не знаешь, когда мысль находится в рабочем состоянии и еще не додумана для самого себя.

– Юрий Артемьевич, зональный прокурор Васин прекрасный работник, дисциплинирован, грамотен... Он вам нравится?

Вопрос был хитрым, поскольку Рябинин как бы проверял искренность прокурора в этих спорах: Васин надзирал за их прокуратурой, и от Беспалова требовалась оценка вышестоящего должностного лица.

– Нет, – признался прокурор, чуть повременив.

– А почему?

– Суховат. И еще кое-что...

– Выходит, вы оцениваете человека не по труду?

Юрий Артемьевич потянулся к носу – пошатать.

– Душа важна человеческая, – решил помочь Рябинин.

– Но и нетрудовая душа нам тоже ни к чему, – сразу отпарировал прокурор.

– Правильно. Без труда нет человека. Но и в одном труде нет человека.

– Нет, в труде уже есть человек! – загорелся прокурор, впервые загорелся на глазах следователя.

Рябинин даже умолк. Беспалов смотрел на него сердито, широко, всклокоченно. Его пыл лег на Рябинина, как огонь на солому. Ответит, он ему ответит.

И промелькнуло, исчезая...

*...Работа может все закрыть. Увлеченность работой может означать безразличие к многообразию жизни. Любовь к делу – обратная сторона равнодушия к жизни?..*

– Юрий Артемьевич, только подумайте, какая надежная защита – труд. По вечерам пьянствую, но я же работаю. Хулиганю, безобразничаю, – но работаю. Над женой издеваюсь – однако работаю. Детей воспитал никчемностями и лоботрясами – позвольте, я же работал. В домино стучу, в карты режусь, слоняюсь, книг не читаю, в театре век не бывал, в мелочах погряз и глупостях – не приставайте, я же работаю...



Рябинин замолк. Говорить длинно он не любил и не умел. Если только в споре. Да и не то он сказал, что промелькнуло, – там было тоньше, острее, сомнительнее.

Юрий Артемьевич положил окурок в пепельницу и плотно накрыл его ладонью, чтобы тот задохнулся без воздуха.

– И все-таки о человеке судят по тому, каков он в работе.

– Не только, – обрадовался Рябинин тому возражению, которое он мог оспорить. – Труд частенько стереотипен. Много тут узнаешь о человеке? А вы посмотрите на него после работы, в выходные дни, в отпуске... Сколько неплохих работников мается, не зная, чем себя занять! Или заняты пустяками. Тут вся личность.

Опять длинно говорил. Окурок в пепельнице уже задохнулся. Юрий Артемьевич снял ладонь и на всякий случай тронул крупный нос. Он мог бы и не трогать, мог бы выйти победителем в споре, обратившись к своей прокурорской роли, и авторитетно разъяснить ошибку следователя. Мог бы победить и не обращаясь к должности: кому не известно, что труд есть мера всего?

– Ну и что же все-таки определяет человека? – спросил он.

– Думаю, что образ жизни.

Беспалов чуть посомневался и добавил:

– В который обязательно входит труд.

– Согласен, – улыбнулся Рябинин.

– Так вы смыслом нашего существования полагаете образ жизни?

– Нет.

– А что?

– Пока не знаю, – ответил Рябинин, как отвечал ему не раз.

– Пока, – усмехнулся Беспалов. – Многие проживают жизнь, да так и не знают, для чего.

– Я надеюсь узнать.

Юрий Артемьевич пригладил стружку висков, которую простоватая секретарша как-то посоветовала ему распрямить в парикмахерской, и неожиданно спросил:

– Допустим, человек меряется не только трудом... Почему же вы сами работаете, как лошадь?

Рябинин хотел переспросить – как кто? Ну да, лошадь, та самая, которую он привел в пример, как тоже работающую. Нужно ответить что-нибудь остроумное, легкое, не вдаваясь. Например: «Разве бывают лошади в очках?» Или: «А что, из моего кабинета слышно ржание?»

– Почему не звонят с места происхождения? – спросил Рябинин.

*Из дневника следователя. Я и сам иногда задумываюсь, почему все дни занят только работой. Трудолюбивый очень? Да вроде бы как все. Деньги люблю? Зарплата у меня средняя. Выслуживаюсь? С моим-то характером... Горжусь броским званием? Есть звания погромче. Возможно, мне нечего делать? Да не работай, я был бы загружен еще больше столько есть занятий по душе. Может быть, желание трудиться вытекает из сущности человека и прав Юрий Артемьевич – рождаемся мы для работы?*

*Но тогда я не понимаю, почему существо, которое трудится, ест, пьет, спит и смотрит телевизор, называется человеком? Ведь лошадь тоже трудится, ест, пьет и спит. Ах да, она не смотрит телевизор. Но только потому, что его не ставят в конюшню. Кстати, я тоже его не смотрю...*

Прав Юрий Артемьевич: лошадь я.

Толпа – первый признак чрезвычайного события. У подъезда скопилось человек десять. Телефонограмма не соврала.

Петельников и Леденцов еще на ходу, еще на тормозном пути распахнули дверцы, выпрыгнули на асфальт и оказались в этой жиденькой толкучке. Одни старухи...

– Это у нас, – сказала одна, настолько маленькая, что инспектора придержали шаг, опасаясь ее задавить.

– Бандитизм в нашей квартире, – подтвердила вторая, чуть повыше, но такая полная, что уж теперь они пропустили ее вперед, чтобы не быть задавленными...

Большая передняя, в меру заставленная отжившей мебелью. Длинный коридор, ведущий в кухню. Запах старых коммунальных квартир – дерева, лежалой ткани, забытых духов и вальерьянки.

– Чайку попьете? – спросила маленькая, энергичная.

– Чего попьем? – опешил Петельников.

– Мария, дак они, может, как теперешние мужики, чай не принимают, заметила тучная.

– Наьем чего и погорше, – согласилась первая старушка и показала на дверь, где, видимо, им и могли налить чего погорше.

– Гражданки! – сказал Петельников тем голосом, от которого трезвели пьяницы. – Мы хоть чай и принимаем, но сюда приехали по сообщению об убийстве!

– Пожалуйста, будьте как дома, – любезно согласилась крохотная старушка.

– Логово убийцы, – вторая показала на дверь.

Леденцов мгновенно и сильно ткнулся туда плечом, но дверь не подалась.

– И не ночевал, – объяснила маленькая.

– Где труп? – прямо спросил Петельников.

– А никто не знает, кроме убийца, – опять пояснила низенькая старушка, которая сумела оттеснить вторую, массивную.

– Как звать погибшего?

У Леденцова в руках появился блокнот.

– Василий Васильевич.

– Фамилия?

– Нету у него фамилии.

– Василий Васильевич да Василий Васильевич, – встряла-таки вторая.

– Где его комната?

– А он жил на кухне.

– Почему на кухне?

– Спит себе на подстилке...

Леденцов опустил блокнот и ухмыльнулся. И хотя бледное лицо Петельникова никогда не краснело, он почувствовал на нем злобный жар, который стянул щеки старшего инспектора какой-то сухостью.

– Товарищ Леденцов! Составьте протокол о ложном вызове и привлечите гражданок к административной ответственности. Кстати, где участковый инспектор?

– Как так привлечь? – удивилась маленькая, главная тут.

– Так! – отчеканил Петельников. – За собачий вызов.

– Василий Васильевич не собака, а котик.

– Тем более!

Вторая старушка подкатилась к Петельникову, как громадный шар, обдав его запахом лука и вроде бы гречневой каши:

– Да этот нехристь не убил Васю, а продал. Воров-то вы ловите?

– Ловим, когда украдена материальная ценность. А ваш кот ничего не стоит.

– Как не стоит? – обомлела она.

– Бабушка, – набрался терпения Петельников, – похищенная вещь должна быть оценена в рублях, а ваш кот...

– Пятьдесят рублей, – гордо произнесла старуха.

Леденцов хихикнул. Петельников слегка подвинулся к выходу: черт с ними, с этими бабками и с их котом. Но маленькая старушка оказалась сзади и дернула Петельникова за пиджак:

– Ему ничего и не будет?

– Кому?

Она кивнула на закрытую дверь.

– Как его фамилия?

– Литровник, Гришка Литровник.

Леденцов опять засмеялся.

– Вот он смеется, рыжий молодой человек, а нам от Гришки житья нет. На днях сожрал весь студень. Ночами пугает нас зубовным скрежетом. Водку льет в себя, как в решето. У него и сейчас стоит на тумбе охолодевшая яичница да пустая бутылка от четвертинки водки.

– Откуда знаете? – заинтересовался Леденцов.

– А через скрытую камеру. – Она поджала губы и мельком глянула на замочную скважину.

Теперь пиджак дернули спереди. Петельников повернулся к солидной.

– Товарищ сотрудник, может, Вася и не стоит пятидесяти целковых, да кот-то очень душевный. В туалет человеческий ходит. Картофельное пюре уважает. Гришку-то Литровника терпеть не мог. Фырчит, как от собачьего образа. Мягонкий, бочком трется... Мы и живем-то одной семьей: я, Мария да Василий. Без него-то зачихнем. Найди котика, соколик, а?

Одна маленькая, вторая толстенная... Теперь Петельников глянул в их лица.

У маленькой среди мелких, как песчаная зыбь, морщин смотрелись черные провалившиеся глаза, тонкий нос и тонкие подвижные губы. Она как бы двигалась на месте, переступая ногами, шмыгая носом и шевеля губами.

У полной старушки все было полным: наикруглейшее лицо, круглые глаза, округлый нос... Седые волосы, остатки седых волос, тонко застилали шар головы. Ей бы старинный чепчик. Тогда бы она походила на ту бабушку, у которой была внучка Красная Шапочка. А если не внучка, а внук? Не Красная Шапочка, а, скажем, инспектор уголовного розыска? Приходил бы он домой поздно, усталый, грязный, а она бы сидела на тахте в чепчике, подавала бы ему чистую рубашку, и свежую газету, и гречневую кашу с луком. Ну, и кот Василий...

– Леденцов, отыщешь кота? – спросил, а не приказал Петельников.

– Не могу, товарищ капитан.

– Почему?

– В отделе засмеют.

Старушки молчали, понимая, что работники милиции принимают решение. Полная скрестила руки на объемном животе. Вторая, юркая Мария, стояла тихо, сдерживалась, шевеля губами.

– В Нью-Йорке двести тысяч бездомных кошек, – на всякий случай уведомил Леденцов.

– Гады, – отозвался его начальник.

– Кто? – не понял Леденцов.

– Монополисты, – буркнул Петельников и спросил у старух: – Приметы у кота есть?

– Серенький, в тигриную полоску, с аккуратным хвостиком...

– Не худой и не дюжий, а так посреди...

– Я спрашиваю про особые приметы.

– Есть, – твердо ответила ртутноподвижная Мария. – Нечеловеческая сообразительность.

– И особливая душевность, – добавила та, которая почему-то не носила чепчика.

*Из дневника следователя. Возьмем человека, у которого ничего нет, поэтому он заботится о пище, одежде и жилье. Но вот у него появился хлеб, комната и костюм. Он уже*

*думает о мясе, квартире и телевизоре. Потом он хлопчет о коньяке и коврах. Потом об импортном унитазе, автомобиле и даче. Потом... А потом у него всплывает тихая и едкая мысль: «А зачем?» Есть ковер, стало два, а зачем третий? Вот тогда он и начинает задумываться о смысле жизни. Эти думы – не от достатка ли? Нагому и голодному не до смыслов.*

*Тогда я рановато задумался, ибо у меня нет машины и всего один ковер, который мне приходится выбивать.*

Когда-то ювелирные магазины походили на музеи: безлюдье, тишина, благоговейные взоры, обращенные на драгоценности, которые подсвеченно мерцали за стеклом, как редкие экспонаты. Но страна богатели. Теперь не было безлюдья, – за обручальными кольцами стояла очередь. Исчезла тишина, – у прилавка с янтарем вечно хихикали девушки. И не заволакивались благоговением взоры, – нынче золотом никого не удивишь.

Вера Михайловна прошла по узкому заприлавочному коридорчику и стала в его конце, оглядывая простор стекла, света и полированного дерева. Стоишь ты посреди каменного блеска... Да что там блеска – посреди бриллиантового сияния стояла она тихо и одиноко, как заброшенная. Страна разбогатели, но не настолько, чтобы за бриллиантами копились очереди.

В этот тихий отдел ее перевели из-за больного сердца. Она согласилась, хотя от безделья скучала, путалась в этих каратах, товар свой не чувствовала и тайно ждала, что ее сократят. Слишком накладно держать человека ради одной продажи в месяц.

Людочка из отдела бижутерии, такая же яркая, как и ее синтетические броши и кулоны, пролетела узкий коридорчик и заговорила стремительно и туманно:

– Вера Михайловна, концерт по заявкам. Будете?

Лишь после третьего вопроса прояснилось, что корреспондент радио собирает пожелания для концерта по заявкам работников торговли.

– Заказывайте для себя, – отмахнулась Вера Михайловна.

– Вы старейший работник, у нас одна эстрада, закажите классику.

У них одна эстрада... Был у Веры Михайловны заветный романс, который почти не исполнялся и который бередил в ней то, что должно лежать в душе тихо и нетронуто до конца жизни. Закажешь, да ведь могут высмеять.

– Я старинные романсы люблю.

– Ха, любой.

– Тогда вот этот... «Не уезжай ты, мой голубчик».

– Не уезжай ты, мой... кто?

– Голубчик.

Людочка молча блестела модными очками и чешскими бусами. Видимо, хотела переспросить. А может быть, рассмеяться.

– Я запишу, – сказала она, доставая блокнотик из синего фирменного халата.

– Чего ж тут записывать...

Несусветные названия эстрадных ансамблей, невероятные названия дисков, непронизуемые названия заграничных мелодий и песен она, наверное, запоминала без блокнота. А вот слова романса не могла. Ведь так просто и хорошо: не уезжай ты, мой голубчик. Может быть, и передадут.

Вера Михайловна как-то необязательно поднялась и подошла к двум покупателям, – у прилавка остановились парень и девушка. Нет, не покупатели. Молодые, веселые, беззаботные... Прельстил, как сорок, яркий блеск.

– Скажите, пожалуйста, у меня галлюцинации или этот перстень действительно стоит двенадцать тысяч? – с вежливой иронией спросил парень.

– У вас не галлюцинация, – улыбнулась Вера Михайловна.

– Я подарю его тебе, – сказал он девушке.

– Когда? – радостно удивилась она.

– Когда стану знаменитым.

– А когда ты станешь знаменитым?

– Так скоро, что этот перстень еще не успеют купить.

– Стоит ли из-за камня становиться знаменитым? – улыбнулась Вера Михайловна.

Что в нем? Блеск? Так у Людочки чешское стекло блестит ярче. Крепость? Зачем же она перстню – чай, не кувалда. Редкость? Да мало ли что редко на земле. Вот любовь душевная реже алмазов встречается...

У прилавка остановилась видная женщина в светлом плаще и широкой бордовой шляпе. Вера Михайловна уже как-то видела ее здесь, у бриллиантов.

– Покажите мне, пожалуйста, этот перстень.

Голос крепкий, густой, повелительный. Наверное, жена дипломата или полярника. Духи недешевые, редкие. И перстень смотрит тот, двенадцатитысячный. Покупательница.

Дама примерила его, полюбовалась игрой света на его гранях и неуверенно вернула, о чем-то раздумывая. Видимо, решалась. Конечно, таких денег в кармане с собой не носят.

– До завтра его, надеюсь, не купят? – спросила она с легкой, рассеянной улыбкой.

Вера Михайловна хотела поймать взгляд этой жизнелюбки, но тень от полей шляпы застила почти все лицо.

– Дождемся вас...

***Из дневника следователя.** У него, то есть у меня, у следователя, должен быть острый взгляд и цепкая память...*

*Вчера Лида попросила зайти в ателье, благо мне по пути, и узнать, можно ли из двух маленьких шубок (ее, старых) сшить одну большую. Выполнить просьбу я не забыл. Зашел, поздоровался и вежливо спросил у оторопевшего мастера:*

*– Скажите, пожалуйста, можно ли из одной маленькой шубки сделать две большие?*

Рябинин ушел из прокуратуры до времени; он иногда так делал, если день выпадал медленный и бесплодный. А этот тащился, словно трактор волок его по бездорожью. Утром хлестнули по нервам – ехать на происшествие. Потом был допрос, нудный, как переход через пустыню. Затем он провел очную ставку, многословную и ненужную. А после обеда пришла жена одного преступника и устроила истерику с визгом и криком на всю прокуратуру...

Теперь в голове у него гудело – тихо, вроде бы отдаленно, как в трансформаторной будке, в которой гудение тоже тихое, но страшное.

Он открыл дверь и швырнул портфель в кресло – небрежно, издалека, шумно. И трансформаторный гул в черепе сразу пропал, как тоже сброшенный.

Лида была дома. Он ее не слышал и не видел, но знал, что она где-то тут, – принимал невидимые флюиды, которые входили в него незримо и радостно. Он снял костюм, умылся, надел тренировочные брюки и спортивную рубашку, разобрал портфель и все не шел в кухню, наслаждаясь этими незримыми флюидами и оттягивая радость свидания. Нет, не оттягивая, а растягивая, потому что свидание уже началось, оно уже шло, ибо эти самые флюиды, или как там они называются, текли и текли в него. Нет, он все-таки спешил, не размялся гантелями, не принял душ... И только где-то на обочине сознания одиноким пятнышком скользнула мысль, быстро придавленная радостью: почему же Лида не выскочила в переднюю, и не обдала его порывом ветра, и не оставила не щеке первый и скользкий поцелуй?

Он вошел в кухню. Ему показалось – на миг, на секунду, но он все-таки успел схватить взглядом, – что посреди кухни стоит чужая женщина, очень похожая на Лиду. Она, эта женщина, как-то встряхнулась, и с нее словно опала тонкая чужеродная пленка, под которой была все-таки Лида. Рябинин даже не успел отпустить улыбку. Он так и спросил, улыбаясь:

– Что с тобой?

– Со мной? – изумилась Лида.

Ну конечно, тот трансформаторный гул дал-таки себя знать. Показалось неведь что. Нервы да июньская жара.

Он молча поцеловал ее. Холодные губы – в июньскую жару – коснулись его губ, как отторгли. Он едва опять не спросил, что с нею. Дневной гул в голове, который вроде бы возвращался, удержал вопрос своим подступающим накатом. Но после чая, великого чая, все прошло окончательно.

– У тебя плохое настроение? – все-таки спросил он.

– Да? – опять изумилась Лида.

Это ее «да» имело много оттенков, но сейчас он не уловил ни одного. Видимо, настроение человека, даже близкого, точно не измерить. Да и нужно ли, не в этих ли изломах и перепадах таится женская прелесть и загадочность?..

Он пошел читать газеты. Но у его письменного стола была какая-то могучая способность засасывать в бумажные трясины. Уже через двадцать минут у Рябинина в руках оказалась пачка его записей о первых годах работы в прокуратуре. Вот как, он, оказывается, тоже вел что-то вроде дневника...

– Ой!

– Что случилось? – крикнул он в сторону кухни.

– Руку порезала!

– Сильно?

– Да нет, пустяк...

Рябинин перенесся в прошлое. Запись о какой-то краже в пригороде, которую он расследовал, видимо, в первый год работы. Ничего не помнит: ни места, ни преступления... Нет, помнит. Вор оставил следы на снегу, на крепком насте, но легкая пороша замела их. Ничего не помнит, а как руками выгребал эту порошу из следов – помнит.

– Аах!

– Да что с тобой, Лидок? – опять крикнул он на всю квартиру.

– Утюгом локоть обожгла!

– Ты поосторожней!

Рябинин еще полистал желтенькую пачку бумаг и положил ее в одну из кип, ждущих своего, неизвестно какого, часа. Пора было браться за работу, намеченную на сегодняшний вечер. Что там? А там другая пачка, свежая, растущая ежедневно на сантиметр. Он начал с журнала, раскрыл на закладке и подумал, что раскрывает его в этом месте уже третий раз. Статья «Умственная выносливость и ее физиологические корреляты». Так, одна математика. Вот почему журнал раскрывается в третий раз...

И промелькнуло, исчезая...

*...Если есть в мозгу какие-то центры любви и ненависти, то они наверняка расположены рядом. Да не один ли это центр?..*

Он поднял голову – пронеслась какая-то мысль, не имеющая отношения к этим самым коррелятам. Он не стал бежать ей вдогонку, наконец-то погрузившись в дебри статьи.

Через час он потерял строчку, ощутив странную пустоту. В комнате ничего не ubyло, в комнате ничего не изменилось, только чуть потускнел дневной свет за окнами. И все-таки чего-то в ней не хватало. Лиды. Она даже не заглянула. Видимо, гладит.

На статью с записями ушел еще час. Рябинин удивленно смотрел на будильник: журнал, заметки, бумажки – и вечера нет. Он встал и пошел на кухню...

Лида сидела за столом, подперев щеки, и пусто смотрела в белесое, уже ночное июньское небо.

– Ты не гладишь?

- Нет.
- И не гладила? – спросил он, заметив на столе неубранную после ужина посуду.
- Нет.
- И ничего не делала?
- Ничего.
- Почему?
- Я никогда ничего не делаю.
- А яснее?
- Я женщина.
- Разве женщины ничего не делают?
- Нет.
- Но ты же работаешь...
- Женщина делает вид, что работает, учится, занимается домашним хозяйством, а сама

думает о любви.

- У тебя в душе тоже белые ночи, – улыбнулся он. – Покажи-ка палец...
- Зачем?
- Который порезала...
- Я не порезалась.
- Как не порезалась?

Она не ответила, разглядывая небо, не залитое солнцем, не затянутое тучами, не закрытое облаками, не озолоченное луной, – она смотрела в это странное небо, бог весть кем и чем освещенное.

- И не обожглась?
- И не обожглась.
- Зачем же кричала?
- Разгадай, ты же следователь...

Он придвинулся, пытаясь своими очками пересечь ее убегающий взгляд, но только закрыл головой блеклый июньский свет, отчего Лидины глаза ушли в серую тень.

- Лида, у тебя что-нибудь случилось?
- Нет. А вот у тебя?

*Из дневника следователя. Иногда мне кажется, что самое страшное – не преступление. Не воровство, не хулиганство и даже не убийство. Страшнее их то, что преступник зреет на наших глазах, как невыполотый чертополох на грядке. Мы, люди, его слышим, видим, дышим одним воздухом... Знаем, что он может украсть или убить, и мало что делаем, чтобы этого не случилось.*

До закрытия магазина осталось двадцать минут, а народ все толпился. Кто пришел купить колечко, кто примерить янтарную брошь, кто захотел полюбоваться бриллиантами, а кто забрел на огонек, вернее, на сияние витрины, где висел и мерцал огромный кристалл кварца.

Вера Михайловна опустила на стул и начала переобуваться, благо за прилавком ног ее никому не видно.

- Дамочка, будьте любезны!

Полный лысый мужчина стоял у стекла и рассматривал драгоценности. Вера Михайловна – на одной ноге туфля, на второй босоножка – вежливо улыбнулась:

- Что вас интересует?

– Вот этот перстенок на кругленькую сумму. Я ведь их всю жизнь добывал на Севере. А жена не верит. Какие такие алмазы? Добывал-добывал, а она их и не видела...

Вера Михайловна здесь, в тишине, полюбила разговорчивых покупателей. Особенно интересных, откуда-нибудь приехавших, вот как этот дядечка с Севера.

– Теперь я пенс...

– Кто?

– Пенс, говорю, на пенсии, значит. Деньжат заработал, лежат втуне, процентами обрастают. А жена алмаза век не видела, хотя я их добывал. Отсюда и мыслишка купить ей бриллиант, чтобы знала, на что наши с ней северные го ды ушли.

– Покупайте, – согласилась Вера Михайловна.

Он вертел перстень, смотрел его на свет, прищуривался, приглядывался и шумно вздыхал.

– Откровенно говоря, я видел сырые алмазы, а в граненых-то не очень разбираюсь...

– Зачем в них разбираться? Вы оценивайте красоту.

– Вот я и оцениваю, – не совсем уверенно согласился покупатель.

Вера Михайловна представила... Не представила, а как-то допустила такую невероятную возможность... Нет, не возможность, а вообразила сон с открытыми глазами – ей дарят двенадцатитысячный бриллиант. Кто дарит? Ах, это не так уж и важно. Допустим, не северянин, а какой-нибудь южанин. «Не уезжай ты, мой голубчик...»

– Это не алмаз, – сказал вдруг покупатель.

– Это бриллиант.

– По-моему, это и не бриллиант, – повторил он с добродушной улыбкой.

– Что? – не поняла вдруг она.

– Ей-богу!

Вера Михайловна решительно взяла перстень:

– Если вещь не нравится, то ее лучше не покупать.

– Зря вы обижаетесь на пенса...

– Гражданин, у нас ведь государственный магазин, а не частная лавочка.

– И все-таки это не алмаз. Я на них собаку съел.

Он что, шутит? Лицо круглое, облитое здоровым румянцем ветров и морозов. Улыбается располагающе. Может быть, разыгрывает? Мол, двенадцать тысяч, а за что – за кварц?

– Мы только первого апреля продаем кварц за бриллианты, – пошутила и она.

– Да на кольцо ни пробы нет, ни маркировки...

Вера Михайловна схватила перстень, поднесла к глазам и начала скользить взглядом по его полированным поверхностям. Чистый, гладкий, белый металл... Никаких букв и цифр не было.

– Что же это, по-вашему? – тихо спросила она вѣдливого покупателя.

– Только не алмаз...

– Людочка! – крикнула Вера Михайловна таким голосом, что прибежали и Людочка, и продавщица из отдела янтаря, и директор...

Они поочередно разглядывали перстень, а Вера Михайловна потерянно смотрела на дурацкого пенса, который заварил всю эту кашу.

– Стеклашка? – Людочка всплеснула руками.

– Перстень подменили.

Кто это сказал? Директор. Какие глупости, кто мог подменить...

– Кто подменил? – все-таки спросила она.

– Вам лучше знать, – отрезал директор.

Вере Михайловне стало вдруг жарко. Нет, это не ей жарко – это полыхнул жаром пол, и горячий поток воздуха, как от летней земли, пошел вверх, застилая человеческие лица. Она их видит, но сквозь этот жар, сквозь этот пар, отчего лица чуть колышутся и даже слезятся. Она почувствовала до какого-то едкого покалывания в груди, что сейчас произойдет еще более



страшное. Вот сейчас... Острый глубокий удар пронзил левую половину груди, лопатку, руку и страшной болью растекся по телу. Это директор... Он чем-то ударил ее сзади. За перстень...

Преодолевающая боль, Вера Михайловна вцепилась в прилавок и медленно осела на чьи-то руки. И уже на этих руках она слышала, как вызывали скорую помощь и милицию.

*Из дневника следователя. Удивляюсь вещам – тем самым, которые мы так любим покупать; которые мы бережем, ценим и сдуваем с них пыль. Вот моя лампа, которую Лида купила в комиссионном. Стройная, бронзовая колонка, увенчанная желтым шатром – абазуром. Говорят, ампир. Я люблю сидеть под ней – как под солнцем. Вот мой стол. Длинный, широкий, светлого дерева. Вроде бы ничего особенного, но я люблю его, потому что за ним столько сжизнено, столько писано и столько думано... Со столом и лампой прошла часть жизни, да и не малая. Они видели мое лицо таким, каким его никто не видел. Она слышала такие мои слова, которые я никому, кроме себя, не говорил. Они стали мне родными...*

Но уйди я от них навсегда, заболей или умри – они не заплачут, не вскрикнут, не пошевеливаются. Лампа даже не перегорит, и стол даже не рассохнется.

Инспектор с готовностью ответил на ее вопрос:

– Я работаю заместителем.

– Заместителем кого?

– Ира, знаете, о чем я мечтаю?

– Да, познакомиться с девушкой, которой будет все равно, заместителем кого вы работаете.

– Умница.

– А я решила, что вы артист.

– Заслуженный?

– Эстрадный.

– Почему же?

– Легкость в вас играет.

– Это во мне есть, в смысле – она во мне играет.

Он не знал, похож ли на артиста, но знал, что артистизм в нем есть. Шел по улице и видел себя со стороны, глазами той же Иры: высокий, сухощавый, без разных там животиков и лысин, в светлых брюках, в белоснежном банлоне... Ничего лишнего.

– А знаете еще о чем я мечтаю?

– О чем? – спросила она, уже опасаясь этих его мечтаний.

– Познакомиться с Марусей.

– С какой Марусей?

– С девушкой, которую звали бы Маруся.

– Мне нужно обидеться? – Ира остановилась.

– Ни в коем случае. Я и сам не Ваня.

– Что-то в вас есть, – решила она, благосклонно зацокав каблук.

– Во мне этого навалом, – подтвердил инспектор.

Ира скосила глаза... С кем она идет? Легкомысленный, непонятный, какой-то нахально-вежливый. Но симпатичный, стройный, решительный. Хотя бы знакомые попались – умерли бы от зависти. И она, может быть, умрет от него, как мотылек от огня. Все-таки он артист или военный. Скорее всего, он артист, который играет военных. Или военный, который строит из себя артиста.

– Ох, мама родная, – вырвалось у нее.

Петельников окинул спутницу тем стремительным и давящим взглядом, каким он впи-  
вался в человека ради крупиц информации; посмотрел так впервые на девушку, с которой,  
оказывается, знаком уже две недели.

Небольшая, ему по плечо, поэтому и виснет. Черные волосы красиво уложены. Ресницы  
еще чернее, и казалось, что при каждом взмахе что-то сдувают со щек. Возможно, и сдувают –  
пудру. На губах розовый паутинкой трескалась помада. Полненькая фигура. Блестящее платье  
из синтетики... Ну зачем в белые июньские ночи надевать блестящее платье? Оно пыталось  
скрыть ее полноту, жестко запеленав грудь, но лишь добилося обратного эффекта. Зато ниже,  
после талии, платье бросило это бесплодное занятие и пошло широко и вольно. Неужели он  
знаком с ней две недели? Зовут ее Ира...

– А куда мы идем? – спросила она.

– В гости к моим друзьям. Давайте-ка сократим путь дворами.

Дворы расцвели. Вздрыбились зеленью чахлые газоны, зацвели голые балкончики и зазе-  
ленели луком подоконники. И запах берез, берущий за душу запах берез, которые так мощно  
пахнут только в июне. Этот запах был везде, даже там, где березы и не росли, и казалось, что  
сочится он из асфальта и стекает с крыш домов.

– Ира, подождите меня, я заскочу в этот подвальчик...

Она не успела ответить и даже не успела потупить от того, что ее кавалер захотел в под-  
вальчик. Петельников легко перешагнул газон, спустился по ступенькам куда-то под фунда-  
мент, открыл железный щит и пролез в узкий проем, видимо, в дверцу для технических нужд.

Прошло минут десять. Ира тревожно посматривала на подвал, где было темно и тихо.  
Необычный парень, странный поступок и мрачный подвал. Все-таки он не артист. Те галантнее,  
те даму не бросят. Может, ей обидеться?

Сначала она услышала резкий, вроде бы металлический визг, когда металл проедется по  
металлу. Этот визг захлебнулся, но вместо него из подвала вылетел отчетливый кошачий вопль,  
тоже придушенно смолкший. Затем в темноте подвальной амбразуры забелел Петельников...

– Ира, знаете ли вы, что в Нью-Йорке двести тысяч бездомных кошек? Только не оби-  
жайтесь.

Он сильно дышал, прижимая к животу полосатого и чумазого кота, который ошарашенно  
смотрел на июньское небо громадными глазищами с поперечными зрачками.

– Ой, у вас рука в крови!

– Ничего, до утра заживет.

– А одежда-то...

Брюки заиндевели от пыли, темные полосы разлинеили плечо, с головы сыпалась уголь-  
ная пыль.

– Теперь вы поняли, что у меня за работа?

– Нет, – тихо ответила она, вообще ничего не понимая.

– Я заместитель директора зоомагазина.

– И зачем этот...

– Товара-то не хватает.

– Он же дикий!

– Одичавший.

Кот обреченно молчал, зло работая хвостом, с которого тоже вроде бы сыпалась угольная  
пыль.

Ира стояла немощно, не зная, что же будет дальше. Вернутся ли они туда, где встрети-  
лись? Пойдут ли вперед? Разойдутся ли по домам? Вероятно, не знал этого и Вадим, негромко  
бормотавший в кошачье ухо:

– Информации у тебя маловато, счастья своего не понимаешь...

Кот только вертел хвостом и жутко урчал нутряным голосом.

– Я пойду домой, – наконец решила Ира.

– Из-за киски? – удивился он. – Вот и парадная моих друзей...

В дверь звонила она, – Петельников держал этого зверя двумя руками. Вадим перешагнул порог и весело поздоровался:

– Как говорят на собраниях: сколько отсутствующих среди присутствующих?

Лида молча взяла пленника, который вдруг пошел к ней вроде бы сам.

– Вот что значат женские руки! Знакомьтесь, это Ира. А это супруги Рябинины.

– Вадим, покажите рану. – Лида уже определила kota на кухню и стояла с йодом и бинтом.

Петельников дал руку и посмотрел ей в глаза тем взглядом, смысл которого знали лишь они: «Как девушка?» Лида на миг подняла глаза к потолку, как закатила. И он не понял – очень хороша или очень наоборот.

– Котик ваш? – спросил Рябинин гостью.

– Котик мой, – уточнил инспектор.

– Позвони в райотдел. Тебя ищут...

– Везде найдут, – с гордецей удивился инспектор, берясь за аппарат.

Секунд через десять он положил трубку и обвел всех уже пустым взглядом.

– Что? – спросил Рябинин.

– Попугай взбесился, – ответил инспектор не ему, а своей спутнице.

– Разве они бесятся? – удивилась Ира.

– Иногда. Ну, я поехал...

Петельников затянул потуже бинт, подмигнул Рябину, отвесил общий поклон и спросил на прощание:

– Итак, сколько отсутствующих среди присутствующих?

*Из дневника следователя. Есть пронизывающий вопрос – зачем? Тот самый вопрос, который будет разбивать все ошибочные мысли. Беспалов утверждает, что мы живем для труда... Но зачем? Трудиться-то зачем? И у него не будет ответа, кроме этой замкнутой цепи: живем для работы, а работаем для жизни... Нет. Труд не может быть смыслом жизни уже хотя бы потому, что у него тоже есть цель. Он сам для чего-то...*

Рябинин надел белый халат...

Утром, сразу после зарядки, ему дважды звонили по телефону Петельников и Беспалов. Продавщицу ювелирного магазина с инфарктом миокарда увезли в больницу, где Петельникову разрешили задать ей лишь один вопрос: кого она подозревает?

По описанию выходила Калязина. Больную требовалось срочно допросить, нужен был официальный протокол. И дело поручили Рябину, как уже знающему Калязину.

Он надел белый халат, увидел себя в зеркале и усмехнулся: вылитый Айболит, только сумки с крестом не хватает.

Лекарственный запах в коридоре его испугал. Почему?

В двадцать четыре года, когда ему вырезали аппендикс, он и скальпеля не испугался: разговаривал с хирургом, шутил с сестрой и спрашивал, не зашила ли она в живот его очки, поскольку будет жаль импортной оправы. А теперь вот присмирел, словно шел узнать собственный диагноз.

Врач, высокая и решительная женщина, остановила его у палаты:

– Только недолго.

– Может быть, нельзя допрашивать?

– Нет, ей стало лучше, но все-таки...

– Напишите, пожалуйста, справочку, что допрос разрешен.

Рябинин не страховался – этого требовал закон. Она кивнула и размашисто зашагала по коридору. Врач и должен быть решительным, даже властным, чтобы его боялись недуги. Возможно, таким должен быть и следователь, чтобы его боялись преступники.

Он вошел в палату...

Две кровати аккуратно застелены. На третьей лежала женщина. Над ней склонилась худощавая светлая девушка, наверное, дочь. Он застегнул халат и неопределенно кашлянул.

– Вы следователь? – спросила девушка.

– Да.

– Мне уйти?

Видимо, он думал дольше, чем нужно для ответа, поэтому девушка что-то шепнула больной и вышла в коридор.

Рябинин медленно опустился на стул и уложил портфель на колени плашмя, боясь лишний раз сотрясти воздух. Но замки все-таки щелкнули. Он разгладил чистый бланк протокола и спросил:

– Вера Михайловна Пленникова?

Она кивнула. Вернее, на секунду закрыла глаза и чуть дрогнула головой.

– Ну, как ваше здоровье? – бодренько спросил он.

– Терпимо...

Голос слабый, затухающий, словно сил ей хватало только на первые буквы.

Как ваше здоровье... Но ведь человек – это и есть здоровье, здоровое тело. Кого же он сейчас спросил о здоровье? Ее сознание о ее теле? Получается, что сознание живет своей отдельной, высшей жизнью и присматривает за своим телом. Тогда наше тело – еще не человек? А что же человек – сознание?

– Врач считает, что вы начали поправляться, – сказал Рябинин, стараясь быть уверенным, как врач, который ему этого не говорил.

Больная пробовала улыбнуться. Рябинин вдруг поймал себя на гримасе, которую он бессознательно строил губами и щеками, пытаясь помочь ей в этой нелегкой улыбке.

– О смерти уже думаю...

У него чуть было не сорвались наезженные слова: «Да у вас прекрасный вид, да вы еще нас переживете...» Этой банальщине не верят, а правду говорить нельзя. И он, стараясь показать одинаковость людишек перед судьбой, сказал то, что не было банальностью и было неправдой:

– О смерти все думают.

– Да нет...

– О смерти не думают лишь дураки да карьеристы.

Эту мысль, рожденную случаем, он сегодня запишет в дневник: о смерти не думают лишь дураки да карьеристы.

– Светку жаль...

– Да что за разговоры о смерти? Вы еще нас переживете!

Вывались-таки эти слова. Но они, эти банальные слова, вроде бы легли на душу женщины – она опять попыталась улыбнуться, и теперь слабенькая улыбка получилась.

И промелькнуло, исчезая...

*...Смерти боится не душа, а тело. Биология цепляется за жизнь. Разум же понимает, что смерть неминуема...*

– Мне нужно провести допрос.

Она не ответила. Рябинин повторил чуть внятнее:

– Необходимо кое о чем спросить...

Пленникова молча смотрела на него.

На него смотрела седая, безмолвная женщина. Кожа на скулах потоньшала, как протерлась. Бескровные губы приоткрыты, чтобы не пропустить очередного глотка воздуха. На верхней губе капельки пота. И влажный лоб, где эти капельки растеклись по тонким морщинкам. Немые глаза смотрели на него в упор...

Да она его не видит! Она где-то там, на другом краю мира, где нет допросов, ювелирных магазинов и двенадцатитысячных бриллиантов. Только слушает. Она к чему-то прислушивалась. Но в больничной палате нет звуков даже часы не тикают...

Рябинин вдруг заметил на ее виске локон – крохотный, не седой, случайный. Какие-то неясные и быстро соединившиеся мысли – была девочка, ходила в школу, теперь в больнице, слушает свое рваное сердце – теплым и пронзительным толчком ударили в его грудь и докатились до глаз. Врачи разрешили допрашивать... Но врачи знали про ее тело, а он сейчас увидел ее душу. И пусть лекари напишут десять справок... Подлость это – допрашивать ее сейчас.

Он рассеянно оглядел палату, ее столик с фруктами и бутылкой сока, цветы в баночке и какой-то лечебный агрегат у изголовья.

– Я к вам приду завтра или послезавтра...

Она кивнула – ясно, облегченно и, как ему показалось, благодарно.

*Из дневника следователя. Иногда мне кажется, что врачом, юристом и педагогом надо работать только до тридцати лет – пока не задубело сердце.*

Запах берез, натекший в открытое окно, сразу пропал. Его вытеснил тонкий аромат каких-то южных цветов – инспектор уголовного розыска Кашина пользовалась духами, как обыкновенная женщина.

– Вилена, я подозреваю, что у тебя есть целая библиотека книг с названиями типа «Массаж носа», «Уход за конечностями»...

– Разумеется. У вас ноги только для ходьбы, а у нас еще и для красоты.

Она села в единственное кресло поглубже, расстегнула жакет, расслабилась, обмякла, чтобы в эти короткие минуты не думать о розыске. У мужчин на эти короткие минуты есть вредная забава, которая все-таки снимает усталость, – курение. Поэтому Петельников заглянул в сейф и достал небольшую, расцвеченную астрочками коробку мармелада.

– Ухаживаешь? – Она хрустко распечатала коробку.

– Я за всеми женщинами ухаживаю...

– И водишь их показывать жене Рябинина.

– Вожу. Вот скоро поведу девушку, которая мне представилась как Джаконя.

– Раньше были Джоконды, – вздохнула Кашина, наслаждаясь мармеладом.

– Вилена, а тебе я разве не делал предложения?

– Три раза.

– Ну?!

– Один раз на месте происшествия, когда мы с тобой нашли отпечаток ладони в маргарине. Второй раз в следственном изоляторе, в камере. А третье предложение ты передал через Леденцова.

– Может, все-таки пойдешь? – сделал он четвертое. – Будешь мне по утрам пеньюар подавать.

– Пеньюар – это прозрачный халатик, который женщина надевает на нижнюю рубашку, выходя пить кофе.

– А я кофе пью в кителе, – невесело улыбнулся Петельников.

– Ой, съела всю коробку, – ужаснулась Кашина. – Фигуру испорчу...

– У меня дома так хорошо и тихо, что идти туда не хочется, – сказал вдруг Петельников как-то не по-своему: без силы, без голоса и без юмора.

Она, собравшись было уходить, тревожно осела на мягкий поролон кресла. Петельников смотрел в окно, на озелененный двор милиции, откуда опять натек березовый дух, все-таки победивший запах южной розы. Они молчали, два инспектора уголовного розыска, которые привыкли помогать, выручать и подменять друг друга на дежурстве; привыкли не замечать друг у друга настроений, ошибок и неудач; привыкли друг над другом подтрунивать, пошучивать и не говорить всуе громких слов.

И вот теперь они сидели и молчали, словно июньский березовый запах запечатал им рты...

В дверь постучали не постучали, а вроде бы сначала терли кулаком по дереву, а потом все-таки стукнули. Две старушки – те, хозяйки котика Василия Васильевича, – входили в кабинет какой-то вереницей.

– Я потом зайду, – Кашина будто не из кресла встала, а оно, старое и глубокое, выпустило ее из своей середины, как вылущило.

– Бабуси, хотите поблагодарить? – спросил инспектор, который успел побывать у Рябиных и отнести кота этим старушкам.

– Нет, милый, не хотим, – ответила худенькая и села в кресло, как провалилась в яму.

– Милиция, а допускает, – туманно поддержала ее вторая, та самая, которой он тогда мысленно надевал чепчик.

Видимо, разговор предстоял длинный и нудный, а он сидел как на иголках, ожидая звонка от Рябинина. Зря не купил вторую коробку мармелада, которая сейчас бы помогла.

– Что-то я вас, гражданки, не понимаю...

– Котик не наш, – почти злорадно выговорила худая, как он вспомнил, Мария.

– Как не ваш?

– А так. Не кот, а дьявол из трубы.

– Как пошел выть да обои когтями полосовать, так у меня аж брови дыбом встали, – поддержала Марию вторая.

Инспектор попробовал отыскать на ее круглом лице брови, но увидел лишь две светлые полосы.

– Подождите-подождите. Вы же сказали, что кот полосатый, с хвостом...

– Что ж, по-твоему, мы евойной морды не отличим? – удивилась Мария.

– И характер-то у него обормотистый...

– Совести у тебя нет, хоть и сидишь в отдельной комнате.

– Ах, совести? Тогда сейчас проверим, бабуси, вашу совесть.

– Как это? – спросила Мария, слегка понижая голос.

Вторая настороженно обернулась к сейфу.

– Вы со мной говорите на повышенных тонах, а я буду с вами говорить на возвышенные темы.

– Это конечно, – подозрительно согласилась Мария.

– Ваш сосед Литровник продал кота неизвестному гражданину за рубль. Можно в миллионном городе отыскать этого покупателя?

– Можно, – мгновенно согласилась Мария. – Овчарку запустить.

– А собака завсегда кошку отыщет, – подтвердила вторая, благодушно улыбнувшись инспектору, которому сумела помочь дельным советом.

Петельников ногами зацепил ножки стульев, как обвил их, – пожалуй, мармелад не помешал бы ему для умиротворения той злости, которая уже зарождалась.

– Собака берет след преступника, а не кота.

– Наш Василий Васильевич пускай сгинет? – спросила Мария, въедаясь в него своими черными запавшими глазами.

– Если человек рубля не пожалел, то уж он наверняка любит кошек. И вашего Василия будет обхаживать.

– А на кой нам чужой-то обормот? – Теперь дородная старушка улыбнулась хитровато, потому что сумела задать ему каверзный вопрос.

– Гражданки, вы в бога верите? – разозлился Петельников.

– Вон Шора с ним знается. – Мария кивнула на свою подругу.

– Ничего не знаюсь!

– Как увидит дом до неба, так и перекрестится.

– Если ваш кот попал в хорошие руки... Неужели вам не жалко другого кота, который сидит в подвале, не ест, не пьет, не моется?.. Где же ваша любовь к животным?

Старушки вдруг насупились, словно он их оскорбил. Мария принялась поправлять кофту, а у пухленькой Нюры неожиданно развязался платок и никак не хотел завязываться.

– Да знаете ли вы, товарищи бабушки, что в Нью-Йорке двести тысяч бездомных кошек?

– А нам с тобой лясы точить некогда, – заявила Мария, вывалившись из своей пещерки.

– Коту-обормоту подошла пора обедать, – разъяснила Нюра, завязав-таки платок.

Инспектор улыбнулся. А Рябинин все не звонил...

*Из дневника следователя. Видимо, я опустился до примитива – с трудом делаю работу, которая не доставляет мне удовольствия. А может, я поднялся до человека будущего – с трудом делаю работу, которая не доставляет удовольствия.*

В тот день, когда Лида якобы обожглась и порезалась... Вернее, после того дня, когда она вскрикнула на кухне, Рябинин напряг все свои мозговые клетки и все-таки вспомнил, что же тогда промелькнуло, исчезая; вспомнил не мысль, уложенную во фразу, а лишь ее смысл. И отшатнулся, если только можно отшатнуться от выуженных из памяти двух слов – любовь и ненависть. Лида, любовь и ненависть... Но как ни напрягался, он так и не смог разгадать ее вскриков на кухне, хотя чувствовал, что все это лежит на линии тех двух слов, добытых им из своей памяти. И, может быть, напрасно добытых, потому что переменчивость ее настроения могла лечь на его фантазию, создав тот причудливый вечер. Так уже когда-то бывало. И проходило...

Рябинин открыл дверь, вошел и хотел, как всегда, бросить портфель в кресло. Но что-то необычное, вроде бы растворенное в воздухе, заставило опустить портфель бережно, как налитый молоком. Он огляделся.

В передней ничего не переменилось. Переменилось... Нет запаха чая. Не пахнет ни тушеным мясом, ни свежими огурцами... Не пахнет ужином. Но чем? Духами. Всю квартиру заполнил жеманный запах каких-то восточных духов, где аромат цветов перемешался с настоем коры, гвоздики и вроде бы даже цитрусовых. И тишина, в воздухе растворились духи и тишина.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.